

Джордж Уайт-Мелвилл

ВОЛЧИЦА



СЕДЬМАЯ КНИГА



Джордж Уайт-Мелвилл

Волчица

«Седьмая книга»

Уайт-Мелвилл Д.

Волчица / Д. Уайт-Мелвилл — «Седьмая книга»,

Франция, конец 18 века, царствование Людовика XVI-го. Однажды зимой 25-летний граф Монтарба повстречал в своем лесу очаровательную Розину, и был сражен блеском её солнечных глаз. Это случилось недалеко от Версаля, в лесу Рамбуйе, и жизнь графа с этого мгновения изменилась и закружилась в бурном и грозном водовороте страсти и событий, перевернувших всю историю Франции и Европы...

© Уайт-Мелвилл Д.

© Седьмая книга

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	15
Глава четвертая	19
Глава пятая	24
Глава шестая	28
Глава седьмая	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Джордж Уайт-Мелвилл

Волчица

Глава первая

Недалеко от Версаля, в лесу Рамбуйе и окрестных деревушках, снег валил, не переставая, густыми, липкими хлопьями. Непрерывная метель и вьюга нанесли огромные сугробы в три-четыре фута вышиной, завалив узкие дороги и тропинки и прекратив всякое сообщение между соседними деревушками. Съестные припасы заканчивались, топливо тоже; если и можно было кое-как нарубить дров, то перевезти их по глубокому снегу было уже слишком затруднительно. Волки, гонимые голодом из своих убежищ, выли по ночам вокруг жилищ, смело подходя к самым строениям, обнюхивая двери хижин и оставляя за собой по снегу длинный, вьющийся след. Лица казались исхудалыми и истощенными, красота женщин поблекла, дети громко кричали от голода, прося хлеба... В царствование Людовика XVI, суровая зима означала — смерть для многих; ропот, лишения и опасности — для всех. Но что же из этого? В то время как голодный, полуодетый крестьянин корчился от стужи у своего потухшего очага, согревая себя мыслями, которые вскоре должны были воплотиться в отвратительные ведения и еще более ужасную действительность, — сытый помещик пировал в своем наследственном замке, легкомысленно и необдуманно принимая за должное и теплую, подбитую мехом одежду и редкие, старые вина, которые согревали его тело и душу...

Возьмем для примера графа Арнольда де Монтарба, возвращающегося с охоты, легкой, непринужденной поступью, с румянцем красивой женщины на щеках и наглостью — падшей, в веселых, выразительных глазах. В двадцать пять лет от роду, с патентом на дворянство времен крестовых походов, которое дает право беспрепятственно входить в спальню своего государя и подавать съезжившемуся королю Франции свежую рубашку, — неудивительно, если он по уши погряз в долгах, был бестолковым помещиком, невезучим в картах, неверным в любви, нечестным в политике и ненадежным в дружбе.

Судя по этому, граф Монтарба мог похвалиться немногим; однако же, он гордился, и не без основания, своей красивой наружностью, отменным пищеварением, веселым нравом и прекрасными манерами, что в его кругу давало ему репутацию славного малого.

— Собачья пора! — бормотал граф сквозь смех и проклятия, смахивая хлопья снега со своих длинных ресниц; — хороший хозяин и собаки не выгонит в такую погоду!.. Пресвятая Дева! Самая пора для волков! Вон еще след, и еще. Ах вы, каналы! И ружье у меня как назло не заряжено пулей! Завтра, друзья мои, я попотчую вас; а там — в Париж, в милый, беспутный Париж! Как бы я хотел быть теперь там... Странно! мне всегда хочется быть там, где меня нет! Так уже видно устроен мой характер. Ну, да что же за беда! Есть разные люди, есть и разные женщины. Как бы я хотел быть теперь дома!.. Терпение, мой милый Арнольд, еще четверть мили и ты будешь спокойно сидеть в своем голубом салоне, у пылающего камина. Брр! опять начинается!..

Молодой человек вынужден был повернуться спиной и скорчиться перед новым порывом ветра, обдавшем его целым облаком снега и завывая пронёсшимся дальше в лес. Обернувшись назад, Монтарба увидел, на некотором расстоянии за собой, женскую фигуру, тщетно пытающуюся выбраться из сугроба, доходившего ей до пояса. В подобных случаях граф Монтарба никогда не задумывался. Бросившись на помощь смелыми, большими шагами, он успел рассмотреть хорошенькое личико, раскрасневшееся от усилий, пару темных глаз, блестящих от волнения, маленькую, стройную ножку и, из-под непокорно развивающегося на ветру красного плаща, гибкую и стройную фигуру девятнадцатилетней девушки.

— Пардон, мадемуазель! Позвольте мне предложить вам свои услуги; держитесь за мою руку; держитесь сильнее, не бойтесь мне не больно, я не закричу... Извините, если я обниму вас покрепче: из вашего положения вас можно вызволить только силой... Ну вот! А теперь, когда вы опять твердо стоите, позвольте мне отрекомендоваться вам — граф Монтарба, к вашим услугам. Я живу в десяти минутах ходьбы отсюда, и если вам далеко идти, то нечего и говорить, что как дом мой, так и его хозяин, в вашем распоряжении.

Они стояли теперь на твердом, обметенном ветром, пространстве, под деревом. Пока Монтарба, постукивая ногами, отряхивал снег с сапог и своего охотничьего наряда, молодая девушка успела, не глядя на него — как умеют делать только женщины — рассмотреть украдкой своего нового знакомого. Да, он очень хорош собой, об этом не может быть и речи. Стройный, ловкий, хорошо сложенный, с видом какого-то доверчивого, веселого и привлекательного добродушного. Правда, более опытный глаз распознал бы сердцееда в каждой черте этого тонкого, аристократического лица, но молодая девушка видела только изящную красоту — может быть слишком женственную, на ее взгляд, — и блестящую внешность того общества, в которое она никогда не надеялась и вряд ли желала попасть. Во всяком случае, она сохранила свое присутствие духа весьма недурно для «простой крестьянки», только что вытащенной из снега пэром Франции!

— Благодарю вас, господин, — сказала она, выпрямляясь и держа его, так сказать, в приличном отдалении; — мне также недалеко и я прошу вас, не делать из-за меня ни шагу лишнего. Тысячу раз благодарю вас, господин граф, и... и... желаю вам доброго вечера; меня будут ждать дома.

— Вы торопитесь, мадемуазель, — отвечал он развязно, и я также; мы можем пойти поскорее, но все-таки вместе. Я ни за что не потерплю, чтобы вы остались здесь одна с волками. Посмотрите на их следы. Разве вы не боитесь? Или, может быть, вы с наружностью Гебы соединяете мужество гренадера?

Она не знала, что значит Геба, но веселость его была заразительна и она отвечала со смехом, который впрочем, старалась сдерживать:

— Волки бывают разные, господин. Бывают и двуногие, в овечьей шкуре; эти, говорят, и есть самые голодные и опасные.

— Значит, камешек в мой огород! — воскликнул он, улыбаясь ей, — Ах, мадемуазель, если бы вы знали, как приятно волку носить в такой холод пушистую овечью шубу! А между тем, посмотрите! Он готов расстаться с ней, чтобы защитить вас! Неужели у вас и теперь не найдется для него доброго слова?

С этими словами, молодой человек снял свой широкий, верхний, подбитый мехом кафтан и накинул его на плечи своей спутнице в то самое время, как новый порыв ветра пронес опять облако снега над их головами. Она не могла не отблагодарить его за такое внимание, и в то же время не могла не заметить изящного, ловко сидящего наряда графа и его стройной фигуры, не защищенной более от порывов ветра.

— Это слишком, господин, — проговорила она, — слишком много доброты, слишком много чести. Знаете ли вы кто я?

— По всей вероятности, «Красная Шапочка», — ответил он, — и может быть, сейчас поведете меня в хижину к своей бабушке? Если я и есть волк, как вы, по-видимому, предполагаете, то, во всяком случае, вряд ли смогу съесть вашу бабушку!

Она, уже не сдерживаясь более, звонко расхохоталась, заманчиво обозначая ямочки на щеках и открывая белые, красивые зубы.

— Мою, вы бы не съели, — отвечала она. — Впрочем, мы не боимся волков. У нас есть добрая овчарка, пес, который хватает их за горло.

— О! А как зовут вашего пса? Скажите мне его имя, чтобы я знал, как назвать его, когда захочу бросить ему кусок пирога, чтобы отвлечь его внимание. Меня не совсем безопасно

хватать за горло; я могу укусить и причинить больше вреда вашему доброму псу, чем вы бы желали.

Молодая девушка покраснела было на минуту, но теперь лицо ее снова побледнело.

— У нас нет никакой овчарки; я пошутила. Бабушка моя стара и мы никого не принимаем, и... и... извините меня, господин; мне уже следовало быть дома час тому назад.

— «Ваша бабушка стара», — повторил он, — и вы «никого не принимаете»? Это невозможно! Это неслыханно! Кто же рубит вам дрова? И кто носит воду? Кто же вскапывает ваш садик? Как же вы живете? Как не умрете с голода?

— Господин... уж это наше дело!

— И мое, также, мадемуазель. Я, по всей вероятности, ваш сеньор, и имею право знать.

Молодая девушка начинала не на шутку интересоваться молодым графом; он удивлялся, что никогда до сих пор не встречал ее, предполагая не без основания, что она живет на его земле, и решив мысленно, не теряя времени, познакомиться с ней поближе.

Хотя в словах его заключалось почти приказание, почтительный тон, с которым они были сказаны, приятно щекотал самолюбие женщины, сознававшей, что стоит неизмеримо ниже его по положению. Она не раз слегка краснела во время их разговора, но теперь вспыхнула как зарево, отвечая ему.

— Нам помогает наш сосед... Мы не совсем одиноки, господин, и не совсем беззащитны. Он навещает мою бабушку почти каждый день.

— Бабушку! А не вас? Так он, в самом деле, овчарка!

— «Овчарка» шести футов ростом, сеньор, и такой силы, что поднимает целый воз дров, как вязанку хвороста. Да что говорить! Во всем округе нет человека сильнее Пьера. И при этом, такое доброе сердце, что он мухи не обидит... Вот какова наша «овчарка», ваше сиятельство! Другой у нас нет.

— Я знаю его, — отвечал граф, — и думаю узнать со временем еще ближе. Вы говорите о Пьере Легро?

— Да, о Пьере Легро. Что вы знаете о нем? Ничего дурного, я уверена?

— Если он вас интересуется, то этого достаточно. Я надеюсь поближе познакомиться с ним. А вы, мадемуазель, надеюсь, не откажете еще раз повидаться со мной? Вы не забудете меня за один день — или за одну неделю?.. Мне бы очень не хотелось исчезнуть из вашей памяти, как растаявший снег. Я сказал вам мое имя, обещайте, что не забудете его.

Он понизил голос и говорил почти шепотом, близко наклоняясь к ней. Она чувствовала себя несколько смущенной, но вместе с тем довольной и польщенной. Однако женский такт подсказал ей обратить слова молодого человека в шутку.

— В нашем лесу не так много графов, в отличие от волков, — сказала она. — Сколько мне помнится, я еще никогда в жизни не говорила ни с одним — и потому, наверное, не забуду вас, по крайней мере, до перемены погоды... Нет, нет, ни шагу дальше. Возьмите ваш кафтан. Наши дороги расходятся здесь, прощайте...

— Прощайте, — повторил он, не выказывая, однако, ни малейшего намерения уходить, — но, по крайней мере, скажите мне на прощанье ваше имя. Как мне называть вас в мыслях, в мечтах?

— Розина, — отвечала она чуть слышно, — этого довольно, надеюсь?

— Розина! Какое прекрасное имя! И как оно идет вам! Итак, Розина, послушайте меня...

Что хотел сказать граф, и выслушала ли бы его Розина — остается неясным, — ибо в то самое время, когда он снимал свой плащ с хорошеньких плеч Розины, оба услышали чей-то задумчивый голос, и с ними поравнялся худой, бледный, средних лет человек, гладко выбритый, в поношенной рясе, и степенно поздоровался с ними, называя каждого по имени.

— Доброго вечера, ваше сиятельство! Доброго вечера, мадемуазель Розина!

Девушка смущенно поклонилась, между тем как спутник ее снял шляпу и отвесил низкий поклон.

Священник — это был их деревенский кюре — строго посмотрел на обоих. Розина опустила глаза, но граф твердо и без малейшего замешательства выдержал его взгляд.

— Будьте так добры, господин кюре, — сказал он, — проводите эту молодую особу до дому. Я был так счастлив, что вытащил ее в нескольких шагах отсюда из сугроба и довел бы ее до самого дома, если бы не эта удачная встреча. Теперь, мне не остается ничего лучшего, как поручить ее вам и откланяться.

Священнику нечего было возразить, и Монтарба с грациозным поклоном, весело пошел своею дорогой, обернувшись, впрочем, еще раз, чтобы взглянуть на Розину, прежде чем покрытые инеем деревья скроют ее вдали. Розина шла, смиренно опустив глаза, рядом с патером, но, тем не менее, заметила взгляд графа и прекрасно поняла его значение.

— Розина, — начал ее спутник строгим, печальным голосом, — видели вы когда-нибудь раньше графа Монтарба?

— Нет, — отвечала молодая девушка, — иначе я не забыла бы его. А что?

Патер подумал с минуту, шепча что-то про себя, вроде воззвания к небу о помощи. Потом, он посмотрел прямо в лицо Розины, и отвечал просто:

— Потому что, вы хорошая девушка и красивая, а он — дурной и богатый человек. Я — служитель святой церкви и должен относиться снисходительно ко всему свету. Не мне говорить дурно о моем ближнем, а тем более судить его моим слабым разумом; но, Розина, ваша душа поручена мне, точно также как и его душа — и я предостерегаю вас, дитя мое, бегите от этого человека, как бежали бы от зачумленного. Не давайте ему прикоснуться даже к краю вашей одежды... Избегайте его общества, избегайте самого воздуха, которым он дышит!

Патер, простосердечный, восторженный аскет, был один из тех ревностных служителей церкви, которых католицизм считает тысячами в своих рядах. Отец Игнатус — имя, под которым он был известен как в высших сферах Ватикана, так и среди бедных крестьян Рамбуэ и Фонтенбло, — совершил немало миссионерских подвигов, обращая язычников в христианство с опасностью для здоровья и жизни, выполняя с беспрекословной точностью данные ему поручения и служа, как он твердо верил, святому делу, с полным самоотречением и самозабвением. Слепое повиновение, неослабевающее усердие — были двумя столпами его веры. Он готов был с равной охотой, по одному слову своих высших, принять на себя паству из нескольких грубых дровосеков в каком-нибудь заброшенном лесу в провинции, или ехать, не теряя ни минуты, до самой Камчатки или Японии.

Хорошо зная классиков и неплохо изучив историю церкви, он был опасным противником на диспутах; тонкий толкователь догматов, верный в суждениях, точный в доводах, красноречивый в словах, соединивший в себе благочестие древнего мученика с ученостью кардинала, — но женское сердце он знал не больше любого пятнадцатилетнего мальчика!

— О! Неужели он действительно такое чудовище? — спросила Розина, широко открывая свои темные глаза. — Он вовсе не выглядит злодеем; скажите же мне, отец мой, что он сделал?

— Дочь моя, — отвечал священник, — не спрашивай о нем ни бабушку, ни Пьера, никого. Ты можешь поверить мне: а я говорю тебе еще раз, забудь его лицо и никогда не упоминай его имени. Если при тебе кто-нибудь станет говорить о графе де Монтарба, сотвори крестное знамение и скажи мысленно: «я не знаю этого человека!» Благодарю тебя, дочь моя, я не войду к вам сегодня. Мне надо идти еще полмили дальше. Господь да пребудет с тобой, Розина, спокойной ночи!

И отец Игнатус поспешил далее, утешать какого-нибудь умирающего на соломе грешника, довольный тем, что успел дать молодой девушке добрый совет, который уберет ее от зла.

Ему и в голову не приходило, что он мог разбудить в ее сердце бесенка любопытства, который при благоприятных условиях может вырасти в настоящего дьявола и причинить много бед молодым девушкам и юношам. Может быть, если бы Розину не предостерегали против графа, она никогда больше и не вспомнила бы о нем.

Ни что так не красит женщину, как здоровье и движение. Никогда еще Розина не казалась так хороша, как в эту минуту, когда она подняла щеколду в дверях своей хижины, внося с собой, как казалось любящим глазам, луч солнца в скромное, несколько мрачное жилище. Но, прежде чем запереть дверь, она долго и пристально смотрела в лес, как бы ожидая чего-то, чего желала и на что не смела надеяться.

— Что там такое, Розина? — спросил женский голос от темного, задымленного очага. — Ты видишь что-нибудь особенное?

— Ничего, бабушка, — был ответ. — Ничего, кроме следов большого волка у самой двери. Когда-нибудь он проберется к нам и тогда нам плохо придется.

— Сохрани бог! — возразила старуха крестясь. — В этом случае, я полагаюсь на Пьера.

Глава вторая

— Кто здесь звал меня? — раздался густой, ласковый голос из дровяного дворика позади хижины. Звук топора, доносившийся оттуда, свидетельствовал о запасе дров, предусмотрительно сделанном на наступавшее суровое время. — Стоит вам только назвать меня — и я уже тут как тут!

Пока говоривший входил в кухню, напускная развязность его тона постепенно перешла в несколько комичную неловкость человека, встречающегося лицом к лицу с любимой женщиной. Пьер старался делать вид, что он менее всего на свете ожидал увидеть Розину, но, не смог, покраснел, пробормотал что-то и, наконец, протянул руку, бессвязно извиняясь за грязь, покрывавшую ее после усердной работы.

Розина милостиво пожала протянутую руку — и ласковый привет, светившийся в ее глазах, сразу ободрил его.

Пьер был статный молодой малый, более шести футов ростом, с открытым, добродушным лицом, что так часто соединяется с могучим и атлетическим телосложением, — нельзя сказать, чтобы красивый, но привлекательный мужественной и благородной осанкой и необыкновенной физической силой, в особенности для женщин, которым, как известно, всегда нравятся крайности. В прыжках, беге, борьбе, поднятии тяжестей, рубке деревьев, стрельбе в цель — у него не было соперников на всем пространстве от Рамбуи до Сен-Клу, — а между тем девятнадцатилетняя девушка могла обернуть его вокруг пальца как конец нитки.

— Ах, мадемуазель, — сказал он, — а мы уже начали беспокоиться за вас в такую метель. Я только что закончил колоть дрова и хотел уже идти искать вас, как только вымою руки.

— Совершенно напрасно, Пьер, — ответила Розина. — Я сумею постоять за себя как дома, так и в лесу. Я давно уже перестала быть маленькой, хотя немножко и не доросла до вас.

Она поднялась возле него на цыпочки и вызывающе заглянула ему в лицо.

— А большой-то волк? — сказал он, с нежностью и улыбкой глядя на красивую девушку, которая дразнила и утешала его каждый божий день.

— О! И большой волк не умнее вас остальных. В пять минут я бы приворожила его так, что он ходил бы за мной как ребенок!

— Замолчи, дитя! — перебила ее старуха, поднимая голову от очага, с которого по всей кухне распространялся аппетитный аромат. — Я не люблю, когда ты говоришь так, шутя ли, серьезно ли. Что ты можешь знать о волках или людях? Тебе бы следовало быть дома часом раньше. Я не хочу, чтобы ты так поздно бродила одна по лесу.

Розина шаловливо, пожала плечами.

— Успокойтесь, бабушка, у меня был провожатый.

— Провожатый?! — повторила старуха, оборачиваясь и вытирая голые руки о передник.

— Провожатый?! — повторил и Пьер, насупившись, и губы его дрогнули.

— Да разве, это так удивительно, что бедная, одинокая девушка встретила добрых людей, которые проводили ее домой в такую метель? Отец Игнатус довел меня сюда до самых дверей.

Лицо Пьера прояснилось, хотя он не сказал ни слова.

— Отец Игнатус — добрый человек, — проговорила старуха. — Пресвятая мать Божия воздаст ему по делам его.

Она перекрестилась и вернулась к своей стирке.

— Но я встретила еще кое-кого, прежде чем кюре проводил меня, — продолжала Розина смиренным тоном. — Один господин вытащил меня из снежного сугроба и накинул мне на плечи свой плащ; один очень красивый, веселый, любезный и великолепно одетый господин, хотя он просто охотился в лесу, то есть собственно шел с ружьем; в сумке у него ничего не было.

— Вы его встречали и прежде когда-нибудь? — спросил Пьер, которому такое продолжение показалось почему-то неприятным. — Вы знаете кто он?

— Он сказал, что живет здесь недалеко, — наивно отвечала Розина, — в четверти мили отсюда. Он называл себя графом Монтарба. Должно быть это наш сеньор. Я не знаю, тот ли это самый?

— Высокий брюнет? — спросил Пьер с живостью, но говоря вполголоса, как бы опасаясь, чтобы его не услышали. — С белыми руками и нехорошими глазами, которые блестят как у пойманного ястреба? Да, это он.

— Так садитесь и расскажите мне про него, — сказала Розина.

Вместо того, чтобы повиноваться, Пьер прошелся раза два-три по комнате, подошел к окну, взглянул на занесенное снегом пространство, запер поплотнее двери и остановился перед простым деревянным столом, на котором сидела Розина.

— Не хорошо так говорить про господ, — сказал он тихим, но твердым голосом сдержанной страсти. — Они похожи на волков в нашем лесу — так же люты, так же жадны и так же безжалостны. Они даже хуже волков, потому что волком движет только чувство голода, между тем как этими... ну да все равно, не станем говорить о таких вещах, от них кровь бьет в голову. Дайте срок! Придет, может быть, время, когда не будет больше господ во Франции!

Молодая девушка смотрела на него испуганными глазами.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила она едва слышно.

— Они отжили свой век! — продолжал Пьер с жаром, охватывавшим его тем сильнее, чем более он старался сдержать себя. — Все это должно измениться. Изъеденные гнилью, отжившие основы не могут устоять против дружных усилий честных людей, готовых пожертвовать кровью, чтобы разрушить их и скрыть до основания. Есть граница всему — и силе воли, и быстроте коня, и любви матери, и терпению жены (вы улыбаетесь Розина), и даже долготерпению мужчины!

— Ну, меру последнего не трудно переполнить, — заметила Розина насмешливо, но Пьер был так занят своими мыслями, что не обратил внимания на ее шутку.

— Мы умнее, чем были наши отцы, — продолжал он. — Со знаниями является размышление и век разума уже близок. Мы уже начинаем спрашивать себя, действительно ли природа создает целые сотни, тысячи людей для того только, чтобы служить потребностям, прихотям и порокам одного человека! Розина, вам бы следовало послушать, что говорят об этом в городах. Мы слышали вчера вечером, нас собралось человек двадцать или более, возле кузницы. Из Парижа нарочно прислан для этого депутат — и я вам скажу, никогда еще даже отец Игнатус не говорил с таким жаром и с такой силой. У него прямо пена стояла у рта, он бесновался как заведенный, а между тем, все, что он говорил, сушая правда.

— Не всякую правду приятно слышать, — заметила Розина, прибавив с досадной непоследовательностью, — А каков этот депутат? Долго он здесь пробудет?

— Он появляется и исчезает как ветер, — отвечал Пьер. — Он переходит из селения в селение, из провинции в провинцию, по мере того как получает секретные указания из центрального комитета в Париже. Да, Розина, если бы только ваш графчик узнал об этом, он бы поймал его и пристрелил без жалости как собаку!

— Пристрелил? Они что — смертные враги? — спросила девушка.

— Они? Тиран и патриот, — отвечал Пьер, — притеснитель и угнетенный, — аристократ и гражданин, одним словом. Как же им не быть смертельными врагами?

Она смотрела на него с тревогой, между тем как Пьер продолжал с прежним жаром:

— Кто такой этот граф, что ему дозволено тянуть жилы из подобных мне, своими феодальными правами, своими налогами и насилиями? Разве он храбрее, лучше, сильнее меня? Не думаю. Я мог бы раздавить его своими руками, если бы встретился с ним здесь, один на один в этих четырех стенах! Но в том-то и дело, что я простолюдин, а он имеет за собою четыр-

надцать поколений «благородных» предков! И потому я должен выжимать свой виноград в его давилнях и молоть хлеб на его мельнице, дожидаясь конечно позволения его милости, пока давилни покроются ржавчиной, а мельница плесенью, и платить еще за это драгоценное право!.. Я не смею полоть своего поля, чтобы не спугнуть как-нибудь его дичину; не смею косить траву или снимать ячмень, пока его куропатки не вылетят из гнезда и молодые зайчата не вырастут настолько, чтобы он мог гоняться за ними по полю и убивать их из своего ружья... Они любят кровь — эти аристократы. Но, как говорил депутат, дичь жарится лучше всего в своем собственном соку — и авось, настанет время, что и они будут плавать в своем собственном!.. Могут ли они тогда надеяться на помощь от меня или мне подобных? Спросите вашу бабушку, она расскажет вам, у нее есть сестра замужем в Бретани. Не правда ли, что там, когда жена помещика родит, крестьяне обязаны колотить окрестные болота длинными шестами, чтобы заставить молчать лягушек, которые могут иначе нарушить ее покой?

Старуха оставила свой очаг и приняла участие в разговоре.

— Да, правда, правда, — сказала она, качая головой; — не раз сестра моя, вместе с мужем и детьми, оставались, на двадцать четыре часа подряд, по колена в болоте. Но битье лягушек еще не самое худшее, Пьер; есть привилегии, о которых не хорошо и говорить, при упоминании о которых честный человек дрожит от гнева, а порядочная женщина краснеет от стыда... Надо положиться на святых угодников и на мать Божию и надеяться, что все это уладится само собою... Однако, дети мои, похлебка уже готова. Поставь-ка еще тарелку, Розина; Пьер останется ужинать с нами. Ужин не хитрый, сосед, но зато приправленный самым искренним радушием...

Между тем, пока Розина с полной готовностью, принялась хлопотать об ужине, хорошее расположение духа снова вернулось к Пьеру. Здоровому и проголодавшемуся, похлебка пришлась ему по вкусу после тяжелой дневной работы; к тому же, глядя на Розину, порхавшую вокруг него по уютной, освещенной комнате, предупреждая его желания, Пьер забывал все свои невзгоды, и ему казалось, будто они уже почти женаты. Итак, неудовольствие, ненависть и злоба были на время забыты.

Но подобные разговоры велись — или лучше сказать подобные обвинения гремели — не в одной этой хижине и не в этот только вечер; они повторялись ежедневно по всей Франции, вдоль и поперек. Целые века притеснений, вместе с деспотизмом Людовика XIV, расточительностью и распутством его преемника, довели средние и низшие классы до той границы страданий, когда всякая перемена приветствуется как благодеяние. Более смелые умы, изнемогающие под гнетом несправедливости и тщетно ищущие куска хлеба, решились усомниться в божественном праве королей. Вопрос этот, поднятый однажды, нашел себе благодарную почву — и новые теории, одинаково неразумные, предлагающие искусственное равенство всего человечества, стали распространяться с поражающей быстротой. Гуманный, уступчивый и несколько беспечный монарх, сидевший тогда на престоле, был плохим кормчим для того, чтобы выдержать бурю, которая поднималась на горизонте; королева, его жена, отважная и преданная Мария-Антуанетта, всей душой желала бы положить конец злоупотреблениям, уничтожить тиранию и сделать счастливым свое второе отечество — но каждый его шаг был остановлен сетью привилегий, предрассудков, обычаев и этикета, для расщепления которой потребовался бы меч второго Карла Великого. Таким образом, положение дел становилось постепенно все более и более натянутым, пока, наконец, не вспыхнула искра революции, разгоревшаяся почти мгновенно в огромный пожар, который свирепствовал, опустошая прекраснейшую страну в Европе, пока не был залит морем крови...

Пьер Легро спокойно наслаждался своей похлебкой, не думая ни о чем постороннем; между тем как Розина как будто прислушивалась к чему-то и вдруг вся побледнела, дрожащей рукой опустив свою ложку.

— Пресвятая дева! — воскликнула она, — опять он!

— Он? Кто он? — спросил Пьер, восторженно, вспомнив о графе и снова впадая в самое мрачное расположение духа.

— Кто? Да большой, старый волк! — отвечала Розина, кладя свою руку на его. — Он знает, что я пришла домой и чует запах похлебки. Вот, я слышу, как он обнюхивает двери!..

Пьер внимательно прислушался; глаза его заблестели, ноздри расширились и даже уши, казалось, поднялись как у настоящей овчарки.

— Ваша правда, — сказал он. — Какой у вас, однако, тонкий слух, Розина! Успокойтесь — не бойтесь ничего — мы покончим с этим молодчиком в одну минуту.

Взволнованный, он назвал ее просто по имени — и Розина, в своем страхе и смятении, нашла это очень приятным и обнадеживающим.

— Пьер! Пьер! — воскликнула она, — ради Бога, будьте осторожнее; не подвергайте себя опасности! Неужели вы хотите выйти к нему?

Пьер отвечал только мрачной улыбкой, не говоря ни слова, подошел к печи, и достал из-за угла неуклюжее, длинное ружье с широкими медными кольцами, старый пороховой рожок и несколько пуль, весом около трех лотов каждая. Старуха, увидев все эти приготовления, бросилась на стул, накрыла голову передником и, взявшись за четки, принялась читать молитвы, с примерной набожностью и ловкостью перебирая зерно за зерном,

— Смотрите, осторожнее! — воскликнула Розина, — оно не выстрелит здесь?

— Нет, пока не будет заряжено, — отвечал Пьер спокойно. — А иногда и после того не совсем так скоро, как бы мне хотелось. Заметьте, что я буду делать — смотрите, Розина! Могу я называть вас Розиной?

— Скорее, скорее! Не теряйте, пожалуйста, времени на ненужные вопросы. Вон, он уже царапается у дверей. О, как мне страшно!..

Пьер положил пару пуль на ладонь левой руки и засыпал их крупными зернами пороха из своей пороховницы, так что покрыл их совсем. Его познания в искусстве стрельбы были самые несложные и составляли плод его собственного опыта, хотя, в конце концов, может быть, и не были далеки от истины.

Со спокойной улыбкой, он пригласил Розину взглянуть, что он будет делать.

— Обыкновенно заряжают ружье одной пулей, — сказал он, — но это, не по мне, я редко даю промах.

— Зачем же вы кладете две?

Поставив приклад на ногу, Пьер с большой торжественностью принялся объяснять свою систему.

— Я выучился этому от старого лесника, который научил меня выслеживать кабана, ловить волков в западню и стрелять оленей. Бедный старик Антуан! Он умер позапрошлой осенью, и я уверен, что он теперь со святым Губертом в раю... Знаете ли вы, Розина, как называется такой заряд?

— Кровополитием, жестокостью, убийством... Мало ли как?

— Это называется: «муж да жена». И тут есть своя мораль, Розина. Там, где каждая поодиночке не привела бы ни к чему, соединенные вместе, они достигают своей цели. Смотрите: я забиваю их вместе в ружье, вместе с горсточкой пороха, и ничто на свете уже не разъединит их, даже самая смерть; они будут найдены рядышком в сердце этого проклятого волка. Вы понимаете, Розина? Я ведь простой человек, неотесанный, самоучка, но у меня твердая рука и любящее сердце. Последнее принадлежит вам гораздо больше, чем вы думаете; что же касается первой...

Но тут сильный толчок в дверь и крик испуга его собеседницы, прервал речь Пьера и заставил его поскорее насыпать порох на полку своего ружья. Волк, о степени голода которого красноречиво свидетельствовало его жадное обнюхиванье двери, начал теперь такую горячую атаку зубами и лапами, что казалось тонкое дерево, и слабая щеколда не выдержит.

— Смотрите, Пьер! — воскликнула Розина, бледная как полотно, но смело стоя за спиной своего обожателя, — он будет здесь через одну минуту.

— То есть, через шестьдесят секунд, — отвечал Пьер спокойно, — этого вполне достаточно, чтобы прицелиться и спустить курок.

Несмотря на свой страх, Розина находила время любоваться хладнокровием и спокойной самоуверенностью Пьера. Но вот настала минутная тишина. Отыскивает ли хищник другой вход или он намеревается произвести новую атаку в сопровождении целой стаи себе подобных? Розина, совершенно, незнакомая с нравами диких животных, была твердо убеждена, что через несколько секунд дверь падет под дружными усилиями целой стаи волков...

Пьер осторожно приоткрыл окно и выглянул на двор. Такие зимние ночи светлы как день. Волк, видя, что все его усилия тщетны, уходил обратно в лес. Его длинная, извивающаяся фигура ясно вырисовывалась на белом снегу. Но вот он остановился, неосторожно позволяя себе роскошь — почесаться.

Раздался оглушительный грохот, стекла зазвенели, старуха вскрикнула от испуга и комната наполнилась дымом. Розина смеялась и хлопала в ладоши, между тем как виновник всего, волк, лежал неподвижно на снегу, с парой пуль ловко уложенных ему в сердце.

— Я редко даю промах, — сказал Пьер, тщательно заряжая снова. — Спокойной ночи, Розина, я думаю, этот молодчик не будет больше беспокоить вас.

Но, хотя одна опасность миновала, зато явился новый повод беспокойства и тревоги: ни один крестьянин не имеет права убить без спросу волка в лесу своего сеньора, точно также как оленя, кабана и всякого другого зверя. Он не имел даже права иметь огнестрельное оружие, и граф Арнольд де Монтарба менее всякого другого помещика во Франции склонен был простить подобное нарушение своих привилегий.

— Если вы зароете его в снег, — сказала Розина, — его найдут, когда переменится ветер — и тогда, Пьер, вам придется отвечать за то, что вы убили волка, спасая жизнь двух женщин...

— Прежде за это рубили руку, — сказала бабушка, выходя из своего угла, с этим своеобразным утешением.

Розина разразилась рыданиями.

— Ах, Боже мой, хоть бы вовсе не было во Франции ни ружей, ни волков, ни сеньоров!

Пьер взял ее руку и поцеловал ее.

— Успокойтесь, я отнесу волка домой на плечах, — сказал он, стоя уже на пороге. — И если кто-нибудь попытается вмешаться в это дело, я сумею постоять за себя. Я показал вам, что могут сделать «муж да жена», Розина. Но они могут служить и в других случаях, а заметьте, человек во весь рост — лучшая цель, чем волк.

— Обещайте мне, что не сделаете ничего необдуманного! — воскликнула Розина с беспокойством.

— А вы обещаете мне что-нибудь за это?

— Может быть.

И с этими словами, она затворила за Пьером дверь и отправилась спать.

Глава третья

Вновь выпавший снег очень скоро замел след волка, но зато другой след, к хижине и от нее, стал настойчиво появляться каждый день, грозя гораздо большими несчастьями, чем нападение хищного зверя.

Граф Арнольд, сидя один за бутылкой вина в своем голубом салоне, пришел к убеждению, что он совершенно очарован хорошенькой крестьянкой, с которой познакомился среди снежных сугробов, — и по своему обыкновению решил дать волю собственной фантазии, не заботясь о последствиях для молодой девушки, в которую, как он уверял себя, он положительно влюбился.

Растянувшись поудобнее среди бархатных подушек и задумчиво глядя на причудливые очертания горящих в камине угольков, он припоминал темные глаза и покрасневшее личико Розины, в тот момент когда она стояла перед ним в снежном сугробе, пока не убедил себя, что, наконец, да, именно наконец, в первый раз в жизни, он встретил женщину, которая не надоест ему, как другие, за одну неделю, даже за месяц, даже, как ему казалось, за год! Она отличается такой свежестью, такой безыскусственностью, так не похожа на всех остальных женщин — как ни многочисленны и разнообразны были его опыты в этом отношении, на которых он до сих пор напрасно тратил время и силы...

Клементина была толста, неотесана, неуклюжа; Жанета, хорошенькая деревенская девушка — совершенно не образована, с руками, которые казалось только что оставили соху; Мария — красавица, но, Боже мой! как глупа; от испанской маркизы, с ее великолепными глазами и роскошными, черно-синими волосами, несло чесноком; у герцогини были дурные зубы; и наконец, его последняя любовь — молоденькая виконтесса, перед которой преклонялся весь Париж, положим — остроумна, нежна, любезна, мила и грациозна, но зато капризна, требовательна, и к тому же до отвращения похожа на всех остальных светских женщин по костюму, манерам, разговору, чувствам и убеждениям! Да, все это слишком однообразно; ужасно мало разницы между одной женщиной и другой: и убранство их салонов, и веера, и носовые платки, все на один покрой; шутки, мнения, разговоры, все как бы исходят из одних уст; улыбки, слезы, замешательство, ласки и капризы, все это ничто иное как повторения одной и той же роли, более или менее плохо разыгранной. Конечно, неизбежно приходится повторять одно и то же, но зачем же одними и теми же словами!.. А с другой стороны, право нелегко придумывать для каждого случая новый способ ответить на улыбку, выразить взглядом упрек, поднести букет, передать записку или пожать руку.

В самом деле, что может дать свет? Даже в Париже, в пышном, веселом, беспутном Париже! Монтарба вслух задал себе этот вопрос, и ему почудилось, что в дыму камина встает тень — тень его самого, но согбенная, истомленная, бессильная — какой-то сморщенный, дряхлый старик — и отвечает: «пресыщение!» Что мог он возразить против этого? Он жадно пил из чаши удовольствий и нашел, в конце концов, что она не так сладка, как казалась сначала. Все прискучило ему: любовь и вино не имели уже прежнего очарования; двор, охота, театр, картежная игра — казалось одно бессодержательнее другого. Давно уже пора найти себе новое занятие, новое развлечение в жизни.

Таким образом, пока Пьер убивал старого волка, граф Арнольд приходил к решению, что станет посещать аккуратно, по очереди, всех своих крестьян и начнет завтра же с Розины и ее бабушки-старухи...

На другой день, он застал молодую девушку за какой-то домашней работой, весело и радостно распеваящую как птичка на ветке. Она казалась теперь еще красивее, чем вчера, и успокоенная вероятно присутствием другой женщины, отбросила всю свою вчерашнюю застенчивость.

Граф Арнольд, как опытный вояка, осторожно повел свои подступы, и в совершенстве разыграл роль заботливого помещика. Прежде всего, он выслушал с любезным вниманием все жалобы и сетования старухи; обещал сделать новую крышу на сараях, даже отметил это для памяти в своей записной книжке и только тогда обратился к Розине.

Тут он направил свои батареи против того угла крепости, который, по его соображениям, должен был представлять самую слабую ее часть. Рассудив, что Розина, по всей вероятности, успела слишком привыкнуть к похвалам своей наружности, он постарался дать ей понять, что для него красота ее составляет самое меньшее из всех ее достоинств.

— Приехав в эти леса, — начал он, — я думал, что должен буду забыть о существовании себе подобных существ и жить один в своем замке, как медведь в берлоге. К счастью, я вижу теперь что ошибался. Я в восторге, мадемуазель, что и здесь есть общество, не менее приятное и образованное, хотя и более безыскусственное, чем в Париже.

— Ах, монсеньор, — перебила его старуха, между тем как внучка ее краснела и улыбалась, — право не всегда можно встретить в простой, задымленной хижине, такую девушку, как наша Розина. Ведь она у нас образованная. Она была в монастыре. Святые сестры выучили ее и читать, и писать, и шить. Ах, если б вы видели, как она вышивает! Или фортепиано! как она играет на фортепиано!.. Если б это были клавикорды, а не кухонный стол, ваше сиятельство, она бы села и играла вам песню за песней, точно ангел небесный.

— У меня дома есть и клавикорды, и кухонный стол, — отвечал граф. — Я буду очень рад, если мадемуазель будет приходить упражняться на том и другом, когда ей вздумается.

Глазки Розины заблестали, но старуха отрицательно покачала головой.

— Наша Розина хорошо воспитана и из хорошей семьи, ваше сиятельство. Отец ее был унтер-офицером при Людовике Великом. Бедный мой мальчик!.. Я как теперь вижу его в его красивом мундире с перекрещенными на груди белыми ремнями и блестящей саблей в руке... Мать ее умерла, когда Розина была еще маленькая, и мы с ним отдали ее в монастырь, потому что мы говорили себе... извините меня, монсеньор, я до сих пор не могу говорить о нем без слез, хотя он давно уже лежит в могиле; и право, когда умер, он казался старше меня, своей матери. А я стара, монсеньор, очень стара...

— Старость почтенна, матушка, — возразил граф, протягивая ей руку и глядя, какое впечатление произведет на Розину его снисходительность.

— Не будем утомлять графа этими подробностями, бабушка, — заметила молодая девушка, — он так добр, что заботится о нашем благосостоянии, но я не думаю, чтобы его могли интересовать все подробности о нашей семье.

— Напротив, мадемуазель, — возразил гость. — Я весь внимание. Я поражен, я удивлен, я не верю своим глазам! Я не могу понять, как такой прелестный цветок мог распуститься в здешнем лесу — и если бы от меня зависело, пересадил бы его в цветник, не теряя ни минуты.

— Вы очень любезны, ваше сиятельство, — отвечала Розина, вполне владея собой; — но самый неприхотливый из полевых цветов вянет в теплице. И на что бы я была похожа в атласе и кружевах, сидя вытянувшись на стуле с высокой спинкой? Если вы хотите смеяться надо мной, то позвольте мне сказать вам, монсеньор, что это невежливо!

— Вы были бы похожи на королеву, — отвечал он вполголоса; — вы созданы, чтобы быть королевой! Когда женщина так прекрасна, она должна ходить в атласе и кружевах каждый день... хотите вы попробовать, Розина?

Она весело засмеялась.

— Бабушка! — сказала она, — слышите, что предлагает граф? Что бы вы ответили, если бы были на моем месте? Не правда ли, наряды, удовольствия и драгоценности — главное, в жизни женщины? Зачем же вы учили меня другому? Пусть монсеньор поспорит об этом с вами. Что же до меня касается, то я совершенно довольна моим настоящим положением.

Монтарба был рассержен и закусил губу.

«Уж не думает ли она смеяться надо мной эта маленькая провинциалка? Что ж? тем занимательнее, если достижение цели будет немножко труднее».

Старуха, борясь с унижительным чувством страха прогневать своего помещика и чувством долга, окончательно растерялась.

— Извините, ваше сиятельство, — забормотала она, — вы не поняли... Розина тоже не поняла... Она ведь еще молода. Вот, дайте срок, выйдет замуж тогда и будет время поговорить о таких вещах.

— Выйдет замуж!.. — повторил Монтарба с нехорошей улыбкой.

— Замуж! — повторила и Розина, покраснев как маков цвет и надув губки; — почем вы знаете, бабушка, что я выйду замуж? Я еще не давала слова.

— Ну, так дашь, все равно... Так бывает с каждой молодой девушкой, моя милая. Все мы испечены из одного теста, все до единой!.. Я сама была молода когда-то, хотя глядя на меня теперь и трудно этому поверить.

— Вы бодро выносите свои года, бабушка, — заметил граф. — Впрочем, от истинной красоты всегда что-нибудь останется, а вы должно быть немало наделали бед на своем веку, а? Однако, расскажите-ка мне про замужество вашей внучки. Мадемуазель извинит меня, что я так интересуюсь всем, что до нее касается... Кто же этот счастливый избранник? Когда свадьба? Я позволю себе предложить при этом небольшой свадебный подарок.

Розина низко присела, а бабушка, совсем растаявшая от его комплиментов, начала сомневаться, чтобы такой обходительный человек мог быть действительно дурным человеком.

— Она выходит за Пьера Легро, — проговорила старуха, и тотчас же пожалела, зачем лучше не откусила себе язык, прежде чем выговорила эти слова.

— Пьер Легро! — повторил граф, с довольным видом; — достойный молодой человек и тоже один из моих арендаторов. Я буду его иметь в виду. Я должен объявить вам, что непременно хочу присутствовать на свадьбе и что, чем скорее она состоится, тем лучше.

Розина снова покраснела, но старуха напротив того, побледнела как смерть.

— Это слишком большая честь, ваше сиятельство, — проговорили они в один голос, но с совершенно различным выражением.

— И так, я пока распрощаюсь с вами, — заметил Монтарба, любезно наклоняясь, чтобы поцеловать щечку Розины, и потом прибавил со смехом: — У нас, сеньоров, ведь вы знаете, есть свои привилегии, а я далеко не из таких, чтобы забыть о них и не воспользоваться ими.

Не успела еще затвориться за ним дверь, еще слышно было, как снег хрустит под его ногами, как старуха уже воскликнула с отчаянием:

— Скорей, скорей, Розина! Беги к колодцу, не теряя ни минуты. Возьми в лоханку чистой воды и три ту щеку, в которую этот негодяй поцеловал тебя, пока вся кожа не сойдет с нее! О, дитя мое, дитя мое! ты была для меня такой доброй дочерью! А теперь, когда я буду одевать тебя к венцу всю в белое, я буду жалеть, зачем лучше не кладу тебя в могилу! Моя вина! Моя вина! Я несчастная старуха и сама не знаю что говорю!

Она упала на стул, закрыв голову платком, и разразилась рыданиями, которые переполнили сердце Розины смутным беспокойством и тревогой.

С этих пор, старуха беспрестанно совещалась о чем-то с Пьером, который, казалось, возвышался в ее глазах, по мере того и также быстро как внучка ее впадала в немилость. Розина чувствовала, хотя бабушка ни на минуту не оставляла ее одну, что между ними прошла какая-то туча и что любовь и доверие, царствовавшие среди них, исчезли без всякой видимой причины. Это страшно огорчало молодую девушку, тем более что и Пьер стал как-то тревожен, угрюм и не походил на себя. В маленькой хижине, в которой когда-то жилось так легко, точно поселился теперь дух раздора, которого нельзя было ни изгнать, ни умиротворить ничем. Весь окружающий мир, казавшийся когда-то такой волшебной страной, потерял все свое очарование и представлял теперь только картину тяжелого, неблагоприятного труда, грубой, недостаточ-

ной пищи и жестокого обращения. Холод и голод, неизбежный в такую суровую зиму, всё яснее давали о себе знать и вызывали ропот и раздражение. Веселое, беспечное расположение духа Розины исчезло; она впала в уныние, стала нервной и нетерпеливой даже с Пьером; роптала на свою скромную долю и сердилась на графа, если он хотя на один день прекращал свои посещения, — то удивляясь, почему он не приходит, то желая, чтобы он не приходил вовсе и в то же время, надеясь в глубине души, что он придет опять!

Глава четвертая

За светлой зарей не всегда следует ясный полдень — за золотистым рассветом иногда наступает бурный и пасмурный день. Никогда еще, ни одна нация не приветствовала своей будущей королевы такими проявлениями восторга и радости, как французский народ приветствовал Марию-Антуанетту, прекраснейшую из принцесс, когда либо украшавших собой французский престол — гордую, мужественную, самоотверженную и, между тем, окончившую, свою жизнь на эшафоте!..

— Какая толпа народа! — воскликнула Мария-Антуанетта, при виде приветствовавших ее восторженных масс, давивших друг друга на улицах Парижа для того только, чтобы прикоснуться к дверцам ее экипажа.

— Ваше высочество, — отвечал изысканно-вежливый герцог де Бриссак, — с позволения его высочества, дофина, это — толпа поклонников!

И немного лет спустя, эти самые толпы неистовствовали уже с криками ненависти и проклятия вокруг гильотины, тесня друг друга, чтобы обмакнуть платок в ее крови.

Но зато, в первые годы пребывания Марии-Антуанетты во Франции, трудно было пользоваться большей любовью, большей популярностью, чем молодая австрийская эрцгерцогиня, юная супруга французского дофина. И недаром народная молва, не переставая приводила примеры ее доброты, деликатности, снисходительности и великодушия. То она избавила от ответственности грума, лошадь которого ушибла ей ногу, умолчав совсем об этом происшествии; в другой раз, она остановила собак, егерей и всю охотничью кавалькаду короля Франции, чтобы только не смять крошечного поля бедняка-крестьянина, у которого хлеб не был еще убран. Когда другого крестьянина чуть ли не до смерти забодал загнанный охотниками олень, она собственноручно перевязала ему раны, положив его голову к себе на колена, и назначила ему пожизненную пенсию из своих собственных средств. Однажды, когда дежурный офицер, передвигая по приказанию королевы какой-то шифоньер в ее комнатах, ушиб себе по неосторожности до крови висок, весь двор был возмущен, узнав, что первая женщина во Франции сама ухаживает за больным; но народ приветствовал поступок королевы криками восторга и радости. Тогда, она называлась еще не «проклятая австриячка», а «наша гордость, наше дорогое дитя, наша добрая молодая королева, обожаемая и прекрасная».

Мария-Антуанетта была уже замужем несколько лет, прежде чем явилась надежда на появление наследника престола; но, несмотря на то, парижские рыбные торговки, с самого начала принявшие ее под свое особое покровительство, клялись, что природа предназначила ее быть матерью: она так любила детей, что не гнушалась даже грязными ребятишками, игравшими на улице. Так, однажды, ее лошадей едва успели остановить над самой головой голубоглазого мальчугана, сновавшего перед ними взад и вперед по улице, не сознавая опасности, или растерявшись от ее приближения. Королева — это было уже после смерти Людовика XV — перепугалась, думая, что мальчика задавят насмерть, и так обрадовалась, увидев его целым и невредимым, что взяла его к себе в коляску и хотела уже увезти с собой, но тут из соседнего дома выбежала испуганная старуха с извинениями и оправданиями.

Королева объявила, что само провидение посылает ей этого мальчика, так как она не имеет своих детей.

— Где же его мать? — спросила она.

— Умерла прошлую зиму, ваше величество.

— От какой болезни?

— От голода, ваше величество.

Королева залилась слезами, а народ отвечал восторженными кликами.

— В таком случае, я беру на себя его воспитание, сказала Мария-Антуанетта, и повезла свою находку в Версаль, между тем как маленький дикарь бесцеремонно кричал и брыкался, протестуя против своего похищения.

Однако вскоре он совершенно примирился со своей участью, и королева, не шутя, привязалась к «своему маленькому Жаку», как она называла его. Он рос и воспитывался в ее семье, и только тогда покинул дворец, когда собственные дети королевы подросли настолько, что могли занять его место. Тогда его отпустили, щедро наградив и дав средства безбедно прожить всю жизнь.

Если он спустил все в несколько месяцев, окунувшись во все пороки и удовольствия Парижа, то не мог винить никого, кроме самого себя. Но разорившийся кутила всегда неблагодарен. Жак Арман, одаренный от природы счастливой наружностью и той легкостью и горячностью речи, которая даже во Франции — где она так обыкновенна — часто слывет за красноречие, занял первенствующую роль в возникавших в то время тайных обществах и революционных клубах, разменивая на франки свои горячие речи, по примеру других наемных демагогов, которые, называя себя патриотами, сбивали с толку честных людей, чтобы ловить потом рыбку в мутной воде. Они избирали себе орудием громкие фразы, смелые угрозы, раздутые метафоры, предоставляя обманутым ими жертвам ружья, ножи и баррикады. Люди, громко кричащие о готовности умереть за родину и щедрые на жизнь других людей, обыкновенно очень дорожат своей собственной.

Однажды, заканчивая одну из подобных речей, проповедующих кровопролитие, анархию и распущенность под священным именем свободы, Арман воскликнул:

— Настало, наконец, время дать урок государствам Европы и бросить им в виде вызова голову короля!

Фраза эта доставила ему, по меньшей мере, тысячу франков ежемесячного дохода и прозвище «Головореза», под которым он стал известен в среде посвященных. Тайный парижский комитет пустил его теперь как горячую головню в провинцию, и скромная кузница в лесу Рамбуи стала на время ареной для его подвигов. Крестьяне слушали его с разинутыми ртами. Казалось, новый мир открывался перед ними — мир, где не будет ни принудительных работ, ни тяжелых налогов, ни помещичьих прав; где каждый сам будет пользоваться плодами своего труда, и в каждой хижине во Франции, как мечтал Генрих Наваррский, «будет вариться курица на очаге».

Правда, несмотря на притеснения дворянства, деревенские жители не дошли еще до тех крайностей, как их городские собратья, но не один грубый крестьянин, слушая речь Головореза, хмурил свои взъерошенные брови и сжимал сильные кулаки, рассуждая про себя, что если только этот человек говорит правду, то право, стоит труда нанести тот удар, который сразу сделает их всех свободными и счастливыми на всю жизнь.

Когда народ восстает, таким образом, брат против брата, в обоих лагерях непременно найдутся изменники. Слух о сборищах — несмотря на страшную клятву, которая давалась всеми присутствовавшими сохранять тайну, — вскоре достиг Монтарба, а граф Арнольд был не такой человек, чтобы оставаться безучастным к подобному нарушению порядка; хотя он не придавал значения угрожающей опасности, но самая дерзость их поступка возбуждала его негодование и зажигала огнем старую нормандскую кровь в его благородных жилах.

— Как они смеют, — бормотал он про себя, ходя взад и вперед по своей голубой гостиной, — как они смеют даже рассуждать о подобных вещах! И еще здесь, под самым моим носом; в кузнице, где куют моих лошадей! В моей кузнице, на моей земле, перед моими крестьянами, принадлежащими мне душою и телом! Когда подумаешь, что какой-нибудь жалкий парижский лавочник смеет явиться сюда, чтобы учить нас подобным безобразиям! Я тоже не останусь в долгу, я сам проучу его, по — своему.

— Эй, Антуан, Виктор, сюда! кто-нибудь! Пошлите сейчас же за Гаспаром и за верзилой Контуа. Да не забудьте растворить окна, когда они уйдут. Я обделаю по-своему это маленькое дельце.

Через несколько минут, два здоровенных лесника, одетых в зеленую с золотом ливрею графа, стояли у порога, не отваживаясь ступить своими подбитыми гвоздями подошвами на вылощенный и блестящий паркет залы.

Граф был видимо рассержен.

— Вы называетесь лесными сторожами, — начал он, — а знаете о том, что делается в полумили отсюда, не больше собак на моей псарне. Безмозглые животные! Сколько волков вы убили с тех пор как наступили холода?

Лесники, в беспокойстве поглядывавшие друг на друга, просияли.

— Пять пар, ваше сиятельство, — отвечал тот, что был поменьше ростом, крепкий широкоплечий детина, по имени Гаспар. — Да пару поймали западней и, хотя они убежали, но в живых не останутся.

— И вы думаете, должно быть, что исполнили свою обязанность? А не слышали ли вы чего-нибудь о двуногих волках?

Гаспар набожно перекрестился.

— То есть оборотнях, ваше сиятельство? — спросил он, и загорелое лицо его покрылось бледностью.

— Дурак, — отвечал граф, — если не понимаешь, и каналья, если прикидываешься. Слушай. Я не думаю, чтобы ты был настолько глуп, чтобы не знать кузницу в полумили отсюда?

— С позволения графа, я мог бы найти туда дорогу с завязанными глазами.

Это было совершенно верно, так как у кузнеца была хорошенькая дочка, благосклонно смотревшая на Гаспара.

— Не бывал ли ты там в последнее время? Неделю, две, месяц тому назад?

— Никак нет, ваше сиятельство. — Гаспар решил отпереться от всего и крепко стоять на своем.

Граф обратился к его товарищу.

— А ты Контуа? — спросил он.

— После Гаспара не бывал, ваше сиятельство, — отвечал великан, обильно обливаясь потом, столько же от смущения и страха, сколько от жары в комнате.

Оба они не раз присутствовали на тайных сборищах, главным образом из любопытства и не слишком-то сочувствуя взглядам, проповедуемым Головорезом, которые, в сущности, сводились к тому, чтобы вырвать у них их кусок хлеба.

— Так вы ничего не слышали о негодяе, который каждый вечер проповедует там, чтобы успешнее обчищать карманы дураков, которые ходят слушать его.

— Нет, ваше сиятельство, — отвечал Гаспар, украдкой взглянув на своего товарища, — то есть ничего положительного. Я слышал, что какой-то человек болтается по нашему околотку, но так как он не насчет дичи, то я и не мешался в это дело.

— А ты бы мог узнать его, если бы встретил? — спросил граф, смотря на него испытывающим взглядом.

— Если ваше сиятельство прикажете, так узнал бы.

— А ты, Контуа?

— Да, если Гаспар узнает, так и я тоже, — отвечал верзила. — Чего бы ни приказали, ваше сиятельство, возможно ли, нет ли, я постараюсь исполнить...

— Мне кажется, что я могу положиться на вас обоих, — продолжал граф. — И так, друзья мои, слушайте: на вид негодяй этот, ловкий, стройный молодой человек, одетый как порядочный торговец; волосы каштановые и носит их без пудры. Вы не обознаетесь. У него быстрые серые глаза, бледное лицо, большой рот и белые, здоровые зубы.

— Да это Головорез! — воскликнул Контуа, и искра понимания блеснула на его бессмысленном лице.

Граф Арнольд улыбнулся.

— Так вы знаете его, каналы, не хуже моего, — сказал он. — Ах, негодяи, чего же вы дураками прикидываетесь! Ну, нужды нет; я умею прощать многое, если мои приказания исполняются в точности, и умею, как вам известно, награждать не в счет за лишнюю работу, сделанную в свободное время. Говорят, вы оба владеете дубиной?

Это был вопрос близкий сердцу Контуа, и он заговорил снова.

— Не худо, ваше сиятельство. Она также слушается моей руки, как шпага вашей.

— Так вот в чем дело. Подстерегите этого негодяя Головореза, где можете. Отваляйте его хорошенько дубинками, чтобы он кричал как помешанный, а еще лучше, чтобы он перестал кричать вовсе! Когда вы удостоверитесь, что он не в состоянии двинуться с места, оставьте его там; я сумею оградить вас от ответственности. Нечего ему делать в моих лесах ни насчет дичи, ни насчет чего другого. Ну, да довольно. Вы понимаете, чего от вас требуют. Виктор даст вам по стакану водки каждому, даже по два. А теперь ступайте. И чтобы я не слышал больше об этом, пока дело не сделано!

— Мы выпьем за здоровье вашего сиятельства, — сказал Гаспар, кланяясь и выходя из комнаты, но Контуа еще раз обернулся на пороге и заметил предусмотрительно.

— У меня рука тяжелая, ваше сиятельство, и моя дубина хватит нелегко, особенно когда кровь бросится мне в голову. Может приключиться, что Головорез не встанет больше вовсе.

— Это уж мое дело, — отвечал Монтарба. — Пейте вашу водку и ступайте.

Лесники повиновались, с беспокойством поглядывая друг на друга.

— Дело ясное, — заметил Гаспар. — По сколько же луидоров мы получим за него?

— По пяти, по крайней мере, — отвечал верзила. — А может быть и по десяти, если раз навсегда покончим с Головорезом. Надо торопиться, дружище, куй железо, пока горячо!

Таким образом, когда Головорез шел в кузницу из скромной хижины, служившей ему жилищем, чтобы обратиться с последним воззванием к крестьянам Рамбуэ, ему внезапно загородили дорогу две атлетические фигуры, в зеленых с золотом ливреях графа. Они пожелали ему доброго вечера, но не выказали ни малейшего намерения посторониться, и что-то в их манере заставило нашего агитатора пожалеть, зачем он не сидит спокойно в Париже, в своем центральном комитете.

Он привык судить о характере людей по их наружности и манере, как моряк судит о погоде, глядя на небо. На этот раз и опытность, и инстинкт подсказали ему, что следует ожидать бури.

— Будьте так добры, господа, пропустите меня, — начал он тоном олицетворенной вежливости, но вежливости вызванной страхом, а не хорошими манерами.

— С удовольствием, — отвечал Гаспар, отодвинувшись ровно настолько, чтобы Головорез очутился между ним и его другом.

Но не успел Головорез сделать и шагу вперед, как оба лесника схватили его за горло. У бедняка помутилось в глазах; однако он успел разглядеть две здоровые дубины, занесенные над его головой. За пазухой у него был кинжал и на одно мгновение ему пришлось в голову пустить его в дело, но мужество Головореза не простиралось так далеко, и он счел за лучшее упасть на колена, прося пощады.

— Вставай, животное, — проревел Контуа, толкая его ногой и насильно поднимая на ноги. — Ишь, ведь дрожит как, дьявол! Надо кончить с ним скорее, Гаспар, а то он развалится в куски.

Гаспар отвечал на эту остроту грубым смехом, и они повлекли, или лучше сказать понесли, бледного и трепещущего агитатора дальше в лес.

— Пресвятая Дева!.. Господа!.. — говорил он, задыхаясь, — что вы хотите со мной сделать? Ради всех святых, отпустите меня, господа!.. Мои добрые друзья, ведь вы не разбойники; вы не можете желать умертвить меня... Я сам из ваших...

— Из наших! — повторил Контуа своим суровым, грубым голосом, — как это может быть? Ты проповедуешь против нас каждый вечер, хуже, чем отец Игнатус против дьявола! Ну, держись, держись! иди сам... Из наших, скажите на милость! Ведь мы принадлежим к аристократии!

— И я тоже! Клянусь всем святым, и я тоже! — молил перепуганный Арман. — Я сам аристократ. Я вырос во дворце. Меня учила читать королева Франции. Я могу доказать вам это, если вы только дадите мне срок.

— Довольно! — завопил Контуа, стараясь нарочно привести себя в бешенство, — это басни, бредни, ложь и вранье! Возьми его другой рукой, Гаспар. Готово ли, дружище? Ну, раз! два!

Слух ли Армана, изошренный неминуемой опасностью, уловил приближающиеся шаги, или боль и страх окончательно лишили его всякого самообладания, но только с первым и вторым ударом дубины он начал испускать такие отчаянные, нечеловеческие вопли о помощи, которые в ясном, морозном воздухе разносились на милю кругом.

— Замолчи же, проклятый трус! — кричал великан, приходя в совершенное неистовство и направляя такой удар в голову своей жертвы, который бы, наверное, лишил ее возможности кричать вовсе, если бы не был во время отпарирован толстой дубовой палкой, управляемой еще более сильной рукой, чем его собственная. С пеной у рта, Контуа повернулся к своему новому противнику и очутился лицом к лицу с могучей фигурой Пьера Легро.

— Оставьте этого человека в покое, — заговорил последний; — вы оба знаете меня, и знаете, что я не понимаю таких шуток и не допущу убийства.

— Я! я! а кто такое ты? — отвечал насмешливо Контуа, однако с каким-то подергиванием вокруг губ, не укрывшимся от его друга. — Ты начинаешь свысока, мэтр Пьер, но лучше позаботься о самом себе. Граф не любит, чтобы простые крестьяне убивали без спросу его волков и, погоди немного, он еще искалечит тебя на всю жизнь. Ты понимаешь, что я хочу сказать и знаешь также, что меня не запугаешь словами.

— Я знаю только, Контуа, что в последний раз, о Святой, я разбил тебе голову в игру в палки, — отвечал Пьер спокойным тоном, — и снова разобью, если ты не послушаешься слов.

Между тем Гаспар, видя, что дело принимает дурной оборот, выпустил из рук ворот своего пленника, и Головорез поднялся на ноги.

— Спасите меня, месье, — сказал он, подвигаясь поближе к Пьеру; — вы честный человек, вы добрый малый. Спасите меня, и я буду вашим другом на всю жизнь.

— Пойдемте со мной, — отвечал тот, прикрывая парижанина от нападающих своей дюжей фигурой, пока они не вышли у них из виду.

— Их больше чем нас, Контуа, — заметил Гаспар своему другу, — их трое против двух, потому что этот огромный детина стоит нас двух вместе взятых. Лучше нам отказаться от своего предприятия и отпустить их.

— А что же мы скажем графу? — спросил Контуа.

Гаспар был человек рассудительный и знающий натуру ближнего.

— Мы скажем графу, что приказания его исполнены, — сказал он, — и потребуем по пять луидоров на брата. После этого у него пропадет охота расспрашивать нас подробнее.

Глава пятая

В тот же вечер, в хижине занимаемой Розиной и ее бабушкой, собрался военный совет. Обе женщины, с истинно женским участием к спасаемому и спасенному, приняли предложение Пьера приютить у себя на ночь Головореза и с рассветом проводить его по пути в Париж. Пьер остался по обыкновению разделить их скудный ужин. Когда по окончании его, все уселись вокруг огня, разговор весьма естественно зашел о событиях дня минувшего и о графе.

— Он запишет об этом кровавыми буквами в своей памятной книжке, — заметила старуха тем заносчивым тоном, который часто как бы служит утешением несчастным, сознающим свое бессилие. — Я хорошо знаю породу Монтарба... Они могут забыть, но не простят никогда. Теперь мало надежды для вас, Пьер, получить в аренду лишней акр земли. А с меня возьмут и налог на мед, и налог на кур. У нас не будет больше горячей похлебки на столе, а скоро не станет и хлеба. Да, да; для вас молодых это тяжело. Что ж до меня — я довольно пожила уже.

— Не могу ли я замолвить слово за всех нас? — спросила Резина. — Граф часто говорит, что мне стоит только сказать слово и все будет исполнено.

— Замолчи, дитя! — сердито прервала ее старуха, между тем как Пьер беспокойно задвигался на стуле, а Головорез старался скрыть улыбку.

— Ведь я уж не ребенок, — проговорила Розина со слезами на глазах.

— В том-то и дело, что не ребенок, — отвечала старуха, потом, обращаясь к Пьеру, — сосед, продолжала она, — я просто теряю голову. Нам надо удалить отсюда эту девочку.

— Я предлагал взять ее, — было ответом. — Домик мой выбелен заново, навес полон дров. Есть часы на кухне, в трубе коптится окорок, и на постели лежит пара чистых простынь. Мадемуазель стоит только сказать слово... Я давно уже жду ее.

— Неразумный! — проговорила старуха, — забываешь, что живешь на земле графа.

— Невежа! — засмеялся Головорез. — Вам бы следовало обратиться прямо к молодой особе, а не к ее бабушке, в таком личном вопросе.

Розина переводила глаза с одного на другого, покраснев до кончиков ушей. Пьер побледнел.

— Понимаю, — пробормотал он, — но не забудьте, что «муж да жена» на пятьдесят шагов расстояния может изменить многое! Что ж они могут сделать со мной? Только отнять у меня жизнь! Но тогда... тогда... что станет с Розиной?

Его сильные члены дрожали как в лихорадке; он облокотился на стол и закрыл лицо руками.

Молодая девушка подошла к нему и положила руку ему на плечо.

— Пьер, — прошептала она, — я почти дала вам слово и теперь жалею, что не дала окончательно. Неужели мне суждено быть постоянной причиной горя для всех, кто... кто любит меня? Бабушка не может говорить со мной без неудовольствия, а вы, Пьер, хотя никогда не скажете мне недоброго слова, но — почему это? — вы выглядите таким печальным и убитым, что у меня сердце разрывается на части. Лучше мне, уйти от вас обоих и самой зарабатывать себе хлеб. Ведь Рамбуи не конец света.

— Мадемуазель совершенно права, — вмешался Головорез, щеголяя своим парижским поклоном. — Мадемуазель говорит очень разумно. Месье, который позволит мне в будущем называть его гражданин Легро, оказал мне сегодня великую услугу. Мадам, несмотря на стеснение для себя самой, оказала мне самое радушное гостеприимство; а мадемуазель, — не говоря уже об одной ей свойственной грации, с которой она хозяйничала за ужином, — удостоила меня, человека чужого, доверия, которое я, впрочем, менее всякого другого способен употребить во зло. Извините меня, если я осмелюсь просить позволения считать себя в числе ваших друзей и подать вам дружеский совет. Повторяю, слова мадемуазель выказывают здра-

вый смысл и знание жизни. Рамбуйе не есть конец света, а только очень маленький и незначительный уголок его. Есть места на земле, где слово «сеньор» произносится не иначе как с презрением и негодованием, — где права сеньора столько рассматривались и анализировались, что остался, наконец, один вопрос — имеет ли он право существовать вообще!

Головорез по привычке остановился, точно ожидая взрыва аплодисментов, которыми обыкновенно сопровождалась подобные фразы.

— Где же это? — спросил Пьер, так как бабушка и Розина были слишком взволнованы, чтобы говорить.

— Где? Где же, как не в Париже? В этом центре свободы и цивилизации, в столице Европы! Париж — вся Франция, — и он изрек свой приговор против тиранов, сеньоров и податей, против всех возмутительных налогов и вымогательств феодальной тирании. — Скоро Париж провозгласит свои убеждения на все четыре конца света — и я, Жак Арман, прозванный добрыми гражданами Головорезом, получу возможность раздавать больше нежели покровительство, высокое положение, власть и богатство своим друзьям!

— А мне, казалось, что вы именно хотите положить конец разнице положений, власти и в особенности богатству, — возразил Пьер, слушавший затаив дыхание. — Вы сами говорили это в кузнице.

— Да, разумеется, — отвечал Арман. — Все люди равны и все должны начинать с одного уровня. Но нет сомнения, что некоторые скоро выдвинутся вперед — и почему же не вы и не я, также как всякий другой. Слушайте, друг мой, служа делу свободы, можно добыть себе хороший кусок хлеба. В настоящее время, быть патриотом — дает сотни франков ежемесячного дохода.

— Но кто же платит деньги? — спросил Пьер, сейчас же ухватившись за самое существенное, как человек собственным трудом добывающий свой хлеб.

— А наш центральный комитет, — отвечал Головорез, — то есть, горсть благородных умов, которые пока собираются в винных погребах и пригородных кабаках, в последних трущобах столицы; но скоро они будут заседать в царских палатах и судить королей и принцев, как и подобает верховному судилищу Франции. Поверьте мне, друг мой, настанет время, когда не будет никаких законов, кроме народной воли. Мы выметем, как массу мусора и нечистот, всю эту вредную толпу сеньоров, придворных, священников, весь парламент и короля!

— Но ведь, говорят, он добрый человек — наш Людовик, — возразил Пьер, несколько ошеломленный развиваемой перед ним обширной программой реформ. — Он помог нам в голодный год из своего собственного кармана и, говорят, сумеет поставить замок на дверь не хуже любого слесаря во Франции.

— Он бы еще ничего, — отвечал Жак, — но это все проклятая австриячка, его жена, научает его топтать в грязь свободу Франции.

— Как! королева? — воскликнули в один голос обе женщины. — Ведь она такая хорошая, красивая, добрая, заботливая!

Арман покачал головой, с улыбкой снисходительного превосходства.

— Что вы можете знать, — сказал он, — вы, простые, темные провинциалы? Вы все боготворили австриячку, когда она приехала сюда, а за что? За то, что у нее нежная кожа, стройный стан и медовые уста. Да! вас не трудно обмануть. Вся ее порода — прирожденные враги Франции. Она проводит жизнь, придумывая как бы получше склонить наши шеи под свое иноземное иго. Вы ничего не знаете, сидя здесь; вы занимаетесь себе рубкой дров, своими курами и пчелами, а мир идет пока своим чередом — но в один прекрасный день вы увидите себя раздавленными под его колесами! О, я мог бы рассказать вам удивительные вещи. Слышали вы когда-нибудь о малом Трианоне или о маскарадах в опере? Знаете вы имена графов д'Артуа, Розенберга и кардинала де Рогана? Ведь не сказки все это — все эти рассказы о ночных забавах в Марли, об игре в жмурки при лунном свете на террасах Версаля!.. Она —

страшная интриганка, говорю вам — эта австриячка — высокомерная, порочная, необузданная и лживая до мозга костей!..

— Какое нам до этого дело? — возразила старуха. — Нас воспитывали в страхе божьем и учили почитать короля и королеву. Для нас вопрос только в том, месье — вы понимаете меня — как укрыть овечку от волка.

— Совершенно верно, сударыня; и так как не настало еще время устранить волка — надо удалить овечку.

— Но куда же, куда?

— В Париж, повторяю вам! Пусть аристократ попробует тогда, если посмеет, побеспокоить вас, когда вы будете под покровительством верховного народа.

— Но ведь мы умрем с голода, мы с Розиной!

— Никогда, бабушка! — воскликнул Пьер, поднимая голову и расправляя свои могучие плечи. — Я могу работать за троих и в Париже, точно также как и здесь. Снимем наш лагерь и двинемся в путь завтра же, на заре. Слушайте. У меня есть сани и два мула, которые отвезут наши пожитки небольшими переходами. Снег нам только на пользу, на санях легче ехать, чем на колесах. Я могу приготовить все сегодня же.

— Прекрасно, — согласился Головорез, — и когда завтра ястреб налетит снова, он увидит, что гнездо опустело, а птичка улетела. Прекрасно, говорю я. Вот так и начинаются революции!

Розина молчала: она положила свою руку в руку Пьера и сидела неподвижно.

— Мне бы хотелось просить совета отца Игнатуса, — сказала старуха, слишком старая, чтобы принять без колебания даже неизбежное решение. — Да вот кажется и он... Доброго вечера, отец Игнатус! Вы всегда желанный гость для нас, а сегодня больше чем когда-нибудь.

Пока она говорила эти слова, дверь отворилась, и священник вошел в комнату, благоговая всех присутствующих.

— Я пришел проститься с вами, — сказал он своим ласковым, серьезным тоном. — Я получил приказание от своих высших. Вы знаете, мы служители церкви — те же солдаты и должны быть готовы в путь по первому призыву.

Обе женщины выглядели удивленными и опечаленными. Старуха заговорила первая.

— Неужели у вас хватит духу покинуть нас? — сказала она. — И еще в такое время! Ах, отец Игнатус, мы будем точно овцы без пастыря.

— У господина моего нашлось для меня другое дело, — отвечал тот спокойно. — Не бойтесь, меня скоро заменит другой. Я встречу своего преемника завтра же, на пути в Париж.

— В Париж! — воскликнула старуха. — Мы тоже только что решили перебраться в Париж: мы говорили об этом в ту минуту, как вы вошли.

Он посмотрела на Пьера и Розину, и проговорил медленно:

— Да, вы правильно сделаете.

— Итак, это решает все дело, — воскликнул Головорез. — Я говорил то же самое — и так как месье того же мнения, то больше нечего и сомневаться. Завтра же, мы двинемся все вместе, не оставив после себя никаких следов.

Священник пылливо взглянул на говорившего.

— Я знаю вас, господин Арман, — сказал он, — хотя вы, может быть, и не знаете меня. Отчасти, вы и есть причина моего внезапного отъезда в Париж.

— Благодарю за честь, — отвечал парижанин с поклоном.

— Тут не до комплиментов, месье, — возразил священник. — Я говорю совершенно откровенно; мне нечего скрывать и нечего стыдиться. В готовящейся великой битве между добром и злом, мы будем стоять в разных лагерях. Моя обязанность — вредить вам везде и во всем, всеми средствами, даже до пролития крови — и я не остановлюсь ни перед чем.

— По крайней мере, отец Игнатус, вы прямой и достойный противник, — отвечал Головорез почтительно. — Есть, однако, один пункт, на котором мы сходимся, это — наши общие друзья. Спасем их общими силами от бедствия, позора и нищеты. Как видите, мы революционеры не так дурны, как вы думаете. Как черт, в которого вы, духовенство, верите с таким непостижимым упорством, мы не так черны, как нас малюют.

— В каждом человеческом существе остается искра божественного духа, — отвечал священник со вздохом, — она-то и оставляет мучения грешников в аду!

Глава шестая

В Версале, как и в лесу Рамбуйе, снег лежит толстым слоем. Цены на хлеб поднялись: дрова дорожают с каждым днем; худые, грязные, растрепанные женщины жестикулируют на улицах; мужчины, сильные и мускулистые, но голодные, недовольные и ничем не занятые, собираются в винных погребах, стараясь забыть свои лишения в грубых, отвратительных шутках и нескончаемом сквернословии. Везде на улицах, голод, холод и отчаянье; только за линией часовых, в залах и галереях дворца, пышность, роскошь и этикет царствуют беспрепятственно. Придворный щеголь носит на плечах своих весь свой годовой доход: его лошади, экипажи и парижский отель стоят больше чем все его имения (если бы он действительно платил за все это); к тому же карманы его должны быть всегда набиты золотом, для ставок за королевским столом, по обычаю того времени. Все эти расходы могут быть покрыты только синекурой, т. е. жалованьем за номинальные заслуги, вырванным у и без того истощенного народа, безнадежно погрязшего в недоимках. Щеголь не платит своим поставщикам; те не имеют возможности платить своим рабочим: эти, в свою очередь, задолжали пекарю, который не может заплатить за муку — и таким образом зараза распространяется и общее банкротство грозит общим разложением. Уже, в клубах и на сходках, бойкие говоруны предлагают под видом сокращения расходов, упразднить армию, духовенство и монархическую власть; вскоре они пойдут еще дальше — и, потеряв чувство всякой меры, под влиянием давления снизу, станут требовать самых крайних мер, и народ выйдет на улицы с оружием в руках... Но что же делает в это время Людовик? Он занят приспособлением замка к одному из своих бюро и, надо отдать ему справедливость, выполняет свою задачу весьма добросовестно. А королева ежедневно совершает свои выходы и всех занимает один вопрос — а именно — кто имеет, и кто не имеет права являться на эти выходы без приглашения.

Привычка — вторая натура. Мода и легкомыслие готовы плясать на кладбище, готовы танцевать на вулкане, накануне его извержения.

Граф Монтарба, задумчивый и озабоченный, поспешно пробирается сквозь толпу придворных, наполняющих переднюю королевы, и коротко отвечает на поклоны и приветствия своих знакомых. Верный самому себе, теперь, когда он в Версале, он стремится назад в Рамбуйе, хотя накануне покинул этот уединенный уголок с чувством досады и раздражения. Тщеславию его нанесен удар, гордость его оскорблена, его феодальные права обращены в ничто; хуже того — он поставлен в смешное положение, он одурочен ничтожной девятнадцатилетней девчонкой, выросшей в глуши провинции, простой крестьянкой, живущей на его собственной земле! Это невероятно, это невозможно! Что бы сказали все эти раззолоченные придворные, все эти изящные кавалеры — среди которых он занимал до сих пор первенствующее место по остроумию, интригам и кутежам, — что бы сказали они, если бы знали правду? Они бы загоныли его до смерти шутками, сарказмами и насмешками. Ему бы ничего более не оставалось делать, как вернуться назад и сажать капусту на террасах Монтарба. Он вспомнил с болью в сердце, что и это живописное убежище уже лишено своей прежней привлекательности. Пустота в замке, пустота в лесу, пустота еще более ужасная в покинутой хижине Розины!

Когда он в последний раз пришел туда по глубокому снегу, одетый еще тщательнее обыкновенного — верный своему правилу быть оригинальным с герцогиней и церемонным и предупредительным с простой крестьянкой — он нашел домик опустевшим и очаг угасшим. Монтарба долго отказывался верить сыгранной с ним шутке, считая невероятным, чтобы люди, находящиеся от него в зависимости, осмелились отвергнуть его милости и не признавать над собой его прав. Только после долгих поисков и расспросов, он убедился, что Пьер Легро действительно ушел вместе со своей невестой и скрылся куда-нибудь, где не могут настичь его ненавистные ему феодальные права и привилегии.

Нелегко краснокожему индейцу скрыть свой след по лесу, прикрывая его травой и листьями, перебегая взад и вперед, чтобы запутать и сбить с толку своего врага; но в стране цивилизованной, где за деньги можно получить сведения даже от птицы небесной, беглецу не легче спастись от преследования, чем оленю, загнанному в парке охотниками.

Уже через несколько дней графу Арнольду было известно, что Розина в Париже; а прошло еще несколько дней — и он сам был уже там, в отеле Монтарба, на расстоянии ружейного выстрела от Тюильри; и если бы не его высокое положение, налагавшее на него обязанность представиться, не теряя времени их королевским величествам, он предпочел бы в эту минуту розыски своей добычи по закоулкам и предместьям Парижа, вместо обмена любезностями с толпой придворных, наполнявших приемную королевы в Версале.

Разговор — хотя не поучительный, но, по крайней мере, интересный для посвященных и совершенно непонятный для остальных — не прерывается ни на минуту. Их величества, если только король пожелает оторваться от своей мастерской, выразили намерение посетить Трианон после обеда — и те, кто имеет право сопровождать двор, резко отличаются от прочих: кавалеры, по богатому, красному с золотом костюму, надеваемому специально для Трианона, точно также как голубой для Шуази и зеленый для Компьена; а дамы, по особому довольству собой и сознанию своего превосходства, ясно выражающемуся в избытке изысканной вежливости, доходящей почти до грубости.

— Разве вы не едете с нами? — спросил де Фавра, молодой вельможа, которого за его преданность престолу называли «более роялистским, чем сам король». — Вы не успеете переодеться, граф; ее величество приказала приготовить сани к двум часам и хочет ехать тотчас после обеда.

— Ведь я человек пришлый, — отвечал Монтарба, с улыбкой глядя на свой богатый, но не яркий наряд. — Придворные милости, подобно солнечному свету, не могут проникнуть в человека, удаляющегося в тень... Я подойду, отвешу свой поклон, посмотрю, сколько новых ярусов прибавилось в прическе королевы — и пока вы, маркиз, будете стоять на морозе без шляпы, я буду уже в Париже.

— В Париже! — воскликнул тот. — Понимаю; значит опять новая приманка. Вы никогда не исправитесь, граф, и не бросите этих пустыков для великих целей жизни!

— Ба! Какие же это великие цели, маркиз? Все та же игра, только разница в ставках... Человек, имеющий в кармане миллион франков, не станет заботиться о выигрыше в сорок или пятьдесят экю. Научите меня, как сорвать весь банк — и я буду слушать обоими ушами! А пока, я лучше вернусь в Париж, где, по крайней мере, сумею найти себе развлечение.

— В этом я не сомневаюсь, — ответил его приятель, но тут отворились двери в спальню королевы, и все устремились туда.

Под выходом в сущности подразумевалось, что ее величество встает с постели на глазах своих восхищенных подданных; но на самом деле туалет королевы бывал уже обыкновенно окончен, раньше чем допускались придворные, и только ради сохранения формы — к ее прическе добавлялось несколько лишних штрихов, в то время как высшее дворянство страны проходило перед нею с утренним поклоном. Она отвечала всем ласково и весело, можно даже сказать игриво, что нередко истолковывалось ее врагами в самом худшем для нее смысле, хотя врожденное достоинство и грация Марии-Антуанетты внушали всем невольное уважение — и нужно было быть действительно смелым и самоуверенным, даже для француза, чтобы делать далеко идущие выводы из милостивых взглядов и ласкающих улыбок королевы. Величественная и прекрасная, она все еще сохранила ту простоту и чарующую прелесть обращения, которая так обворожила французский народ, приветствовавший на германской границе молодую невесту дофина; но в глубоких серых глазах лежало теперь грустное и как бы испуганное выражение: беспокойство и тревога оставили свой след на этом чистом, бело-мраморном челе и провели серебряные нити в роскошных каштановых волосах, нагроможденных по обычаю того

времени ярус на ярусе и переплетенных пунцовым бархатом, газом, кружевом и драгоценными нитями жемчуга, стоящими сотни тысяч франков.

Да, она любила драгоценности, эта царственная женщина; любила танцы, празднества, веселье, роскошь и забавы; но более всего она любила свой народ, а он ненавидел ее, глубокой, смертельной ненавистью, впоследствии утоленной в крови.

Когда подошел маркиз де Фавра, королева приветствовала, его своей чарующей улыбкой.

— Мы ожидаем вас сегодня в Трианоне, маркиз, — сказала она, — я вижу по вашему наряду, что вы получили приглашение. Но слушайте: я хочу, чтобы вы ехали в следующих санях за моими. Если я опрокинусь, вы будете иметь честь поднять меня

Молодой человек казался несказанно счастливым.

— Это единственная честь, ваше величество, которой я не желаю. Опасность была бы слишком велика.

— Чем больше опасности, тем больше чести. А я считала вас, маркиз, таким рыцарем.

Он низко поклонился.

— Каждый француз, — сказал он, — становится рыцарем, служа вашему величеству. Я только один из многих — одно звено в целой цепи.

— А велика эта цепь? Много в ней звеньев?

— Каждый день выковывает новые, ваше величество. Она достаточно длинна теперь, чтобы окружать дворец.

— Благодарю вас, маркиз; это — золотая цепь.

— Виноват, ваше величество, более того; это цепь стальная.

— Понимаю. Довольно, маркиз, вы можете идти.

Она поняла; поняла слишком хорошо и чувствовала, что кровь ее холодеет в ее жилах, в то время как отвечала на его низкий, почтительный поклон величественным наклоном головы. Молодой, мечтательный и рыцарски-благородный маркиз де Фавра предчувствовал приближение опасности, которую, казалось, игнорировали более опытные и седые головы, и задался целью сформировать секретный конвой для наблюдения за безопасностью королевской фамилии, готовый во всякую минуту защищать жизнь ее членов. Многие из самых блестящих имен Франции вступили в этот почётный легион — и вначале, пока мысль была еще нова и энтузиазм, возбуждаемый ею, не начал еще ослабевать — могли бы свершиться чудеса храбрости; эти изнеженные герои умирали бы десятками за своего государя, как их закованные в железо предки. Но напускной жар не есть истинная храбрость, точно также как лихорадочное возбуждение не есть сила. Как бы ни были высоки по общественному положению члены какой-нибудь общины, как ни возвышенна преследуемая ими цель — хорошая дисциплина и... увы!.. хорошая плата необходима, чтобы сдержать вместе всякое собрание людей связанных общим делом; без краеугольного камня, представляемого разумной и практической организацией, всякое здание подобных ассоциаций должно рухнуть неизбежно.

Когда Монтарба, как одному из многообещающих молодых роялистов, предложили присоединиться к этой горсти героев, он задал два весьма характерных вопроса.

— А есть у вас пушки и деньги на военные расходы? — спросил он.

— Ни того, ни другого, — отвечал де Фавра, горя преданностью и воодушевлением, — но у нас есть шпаги и кошельки наши в распоряжении их величеств.

— Так я вас поздравляю, — отвечал граф Арнольд; — вы не заставите замолчать батарею своими рапирами, и когда король и королева истратят ваши деньги, каким образом вы удержите на поле битвы хотя бы сотню человек?

— И это Монтарба! Де Монтарба! — воскликнул Фавра со вздохом — Бедная Франция! у нее не осталось ни веры, ни надежды.

— Ни любви, — прибавил Монтарба, — исключая той, которая начинается и кончается в пределах личной жизни. Поверьте мне, друг мой, недалеко то время, когда каждый будет за себя, а черт за всех!

Но подобные мнения нельзя было высказывать в комнатах королевы, и Монтарба отвесил свой поклон ее величеству со всей преданностью и благоговением рыцаря старых времен.

Однако в обществе, подобном версальскому, взгляды и убеждения каждого придворного, как бы тщательно они не скрывались, так или иначе, становятся всем известны. Этот разговор происходил тет-а-тет, маркиз к тому же был слишком честен, а граф слишком осторожен, чтобы повторить из него хотя бы одно слово, и между тем, достаточно из него успело выйти наружу, чтобы возбудить подозрения — хотя и не высказываемые открыто — в преданности молодого графа; и на него стали смотреть как на склоняющегося в сторону той партии, против которой де Фавра делал свои тщетные приготовления — партии, которую раздавили бы не думая, если бы она оказалась слаба, но с которой приходилось теперь вступать в соглашение, так как она с каждым днем приобретала новую силу и в городе и в провинции.

Король был хороший слесарь, но плохой администратор, а Мария-Антуанетта давно уже убедилась, что нужна более сильная рука, чем ее собственная, чтобы удержать равновесие между различными партиями, готовыми на все, ради своих собственных нечистых целей. Однако она старалась по возможности примирить всех — и потому, приняв де Фавра с нескрываемой благосклонностью, посчитала необходимым отнестись милостивее, чем обыкновенно, и к Монтарба. Мария-Антуанетта не унаследовала также и благоразумия своей царственной матери. Между тем как холодная и расчетливая Мария-Тереза всегда умела сохранить такт и присутствие духа, ее более впечатлительная и увлекающаяся дочь часто не знала меры и впадала в крайности.

— Добро пожаловать, граф Арнольд, — сказала она, с более приветливой улыбкой, чем монархи обыкновенно награждают своих подданных. — Мы ожидали вас из Монтарба неделю тому назад и почти потеряли надежду увидеть вас. Мадам де-Полиньяк уверяла, что вы погибли в снегах от своих собственных волков. Но я сама охотилась в Рамбуйе, хорошо знаю его приманки и потому думаю, что вас удерживает что-нибудь другое.

Что это означает? При дворе все известно? Неужели королева уже слышала о Розине? Монтарба низко поклонился, пылливо глядя ей в лицо, но глаза Марии-Антуанетты так ласково взглянули на него, что он начал терять голову.

— Только крайняя необходимость могла удержать меня там, вдали от вашего величества, — отвечал он. — Ваш верный слуга, только тогда живет действительно, когда согревается лучами вашего присутствия.

— Но вы, кажется, прекрасно обходились без них, месье, — засмеялась она, — даже в эту холодную пору. Вы вовсе не похожи на цветок, который чах в тени... Но вернемся к волкам. Мне никогда не случалось охотиться на них. Скажите, сколько вы успели убить, с тех пор как выпал снег?

— Если бы ваше величество удостоили мои скромные леса своим посещением, — отвечал он, — вы бы увидели охоту на волков во всем ее блеске. Волки умирали бы десятками у ваших ног, как с гордостью умер бы владелец моих земель, если бы это могло доставить вам, хотя минутное удовольствие.

— Это легко может случиться, — отвечала королева, более удивленная, чем обрадованная действием, произведенным ее немногими милостивыми словами. — Шкура чернубурого волка составила бы прекрасную накидку для моих саней.

— Так не удостоите ли, ваше величество, принять таковую от самого преданного из ваших слуг? — воскликнул он, наклоняясь так низко, что губы его коснулись ее платья; потом прибавил, понизив голос и так многозначительно, что слова его становились дерзостью: — И

когда накидка эта будет прикрывать собою прекраснейшую женщину в Европе, не удостоите ли, ваше величество, вспомнить обо мне?

Как холодно и резко, каким изменившимся тоном прозвучал высокомерный ответ!

— Непременно, месье; тем более, что вы, кажется, забылись сами. Ступайте. Я не надеюсь более видеть вас в Версале.

Глава седьмая

«Ступайте!» Слова эти продолжали звучать в ушах, не заглушаемые ни шумом голосов, ни криками лакеев, ни шумом колес, ни бряцанием ружей часовых, сменявших друг друга. Они жгли его, сводили с ума, наполняли ядом всю его кровь. Что такое произошло? Во сне или наяву? Он ли это, тот самый граф Арнольд, который хвалился, что ни одна женщина не может противостоять ему, ни одна женщина не может взглянуть на него сурово — разве от ревности и оскорбленной любви? Возможно ли, чтобы эта австрийская эрцгерцогиня оставалась равнодушной к его поклонению, опираясь на свое достоинство королевы Франции? Она, которую он так часто видел искренней и приветливой с людьми, стоящими неизмеримо ниже его по положению, уму, происхождению и в особенности по наружности и чарующей прелести манер... Да, она поплатится за это, и поплатится дорого! Она оскорбила его гордость, задела его самолюбие, унизила его в глазах всего двора. Она раскается в этом, но поздно, когда он, Монтарба, в качестве предводителя народной партии, заставит ее, гордую и надменную, смиренно склонить перед ним голову. Да! Вот путь, который ему стоит избрать! Вот поприще, которое обещает многое человеку талантливому и мужественному и — как он — не обремененному слишком беспокойной совестью.

К тому же, он дворянин — и они примут его с распростертыми объятиями. Титул аристократа, хотя и употребляемый ими в смысле укора, в сущности, может служить верным проводником к их расположению. Он красноречив — и будет говорить у них в палате; он храбр — и станет предводительствовать их колоннами. Что помешает ему сделаться диктатором, неограниченным властителем народа, провозгласившего свою свободу? Ведь Кромвель сделал это; а Кромвель был простой депутат, невзрачный, ограниченный саксонец, не обладавший ни одним из блестящих качеств, необходимых для политического успеха, которыми он, Монтарба, наделен так щедро! Правда, Оливер отказался от короны Англии. Но что помешает ему воспользоваться шансами и случайностями великой затеявшейся игры и внести свое имя на страницы истории, как Арнольда I, короля Франции!?

Что может быть стремительнее и неправдоподобнее мечты? Монтарба успел прийти к этому нелепому заключению раньше, чем достиг наружных ворот дворца. Часовые, отдававшие ему честь при входе, еще не были сменены, а проходивший полчаса тому назад сквозь их ряды надменный вельможа, имеющий за собою сотню таких же предков, успел уже превратиться из роялиста в неистового, мстительного демагога, жаждущего отказаться от всех священных традиций своего рода, в надежде на невозможный успех и недостойную лесть. На их обычное воинское приветствие, он отвечал уже с той панибратской распушенностью, которая ведет к ослаблению дисциплины... И вся эта перемена произведена была в каких-нибудь пять минут несколькими необдуманно сказанными словами женщины, всегда склонной в своих действиях слишком подчиняться сиюминутным порывам.

Граф Арнольд бросился в свои сани, закутался богатой меховой полостью, и несмотря на свои новорожденные симпатии к братству, равенству и свободе, с грубой бранью приказал своему кучеру ехать назад в Париж, хотя этот честный малый, терпеливо ожидавший его на морозе, несколько того не заслуживал.

Проезжая по улицам Версаля, Монтарба не мог ни заметить, что число недовольных сильно преобладает среди беднейшего класса населения. Голод и холод наложили свою печать почти на каждое лицо; в глазах многих виднелось то хищное выражение, которое говорит о лишениях сверх сил и жажде утолить их в крови ближнего. Какой-то мальчуган выбежал ему навстречу из своего мрачного, холодного жилища, чтобы плюнуть на проезжающего мимо аристократа. Другой, взрослый, шепнул что-то на ухо своего товарища и вызвал громкий, грубый смех, в котором слышалась насмешка, ненависть и злоба, но не было ничего веселого. Обо-

рванная женщина, с развевающимися по плечам волосами, стояла в дверях винного погреба, крича, жестикулируя и призывая проклятия на его голову. Толпы народа преграждали ему путь и едва пропускали его сани, посылая вслед «аристократу» ругательства и проклятия.

— Ты был сегодня у хлебопёка? — кричал один. — Просил ты у него нам хлеба?

— Хлеба! — вопил другой. — Хлеба надо просить не у него, а у его жены. Она забирает его весь себе. Она готова сожрать детей наших, лишь бы только не голодать самой.

— Аристократка!

— Тиранка!

— Людоедка! Долой австриячку!

Чувство злобы, охватившее Монтарба еще во дворце, теперь овладело им с новой силой.

— Долой австриячку! — воскликнул и он, вставая в саних и размахивая шляпой. Толпа отвечала ему каким-то воем и на минуту, пока эти дикие крики не замерли в пространстве, Арнольд вообразил себя истинным патриотом, готовым жертвовать жизнью и положением за своих голодных братьев. Приближаясь к Парижу, он стал нагонять разбросанные кучки пешеходов, сначала по два и по три, потом по десяти, по двадцати; все они направлялись к столице, как будто торопясь, но, очевидно, не имея перед собой никакой определенной цели. Разговор их казался непрерывным рядом вопросов, без ответов; и все они — как следы к львиной берлоге в басне — шли в одном направлении. Он встретил только одного человека, направляющегося в обратную сторону — к Версалю — высокого блестящего всадника, роскошно, хотя и безвкусно одетого, который галопировал по глубокому снегу с той смелой, непринужденной манерой, которая отличает обитателей той стороны Ла-Манша. Несмотря на то, что ветер дул ему прямо в лицо и термометр показывал несколько градусов ниже нуля, кафтан его был распахнут на груди и концы кружевного галстука свободно развевались по его широким плечам. Его густые каштановые кудри живописно падали из-под широкой, надвинутой на бок шляпы; тяжелая золотая цепь, спускаясь из жилетного кармана, звенела и бряцала в такт движениям лошади. Стремена его висели свободно, точно также как и подпруга, поводья, седло, платье; во всех движениях и во всем существе его виднелась веселая, непринужденная самонадеянность и довольство собой, не позволявшие сомневаться в его национальности даже тому, кто не слышал его имени.

— Фицджеральд! — воскликнул Монтарба, круто останавливая свои сани. — Приветствую вас, мой неукротимый наездник Запада! А я думал, что дуэль в Гено повлечет за собой изгнание из Франции...

— Меня простили, когда узнали, что он не совсем убит, — отвечал тот, дружески пожимая руку своему приятелю. — Я попал ему прямо в живот, как и хотел. Ведь вы знаете, граф, это самое чувствительное место у саксонца.

— В живот!.. и англичанин остался жив?

— Жив! Отчего же ему не остаться живым? Однако пуля попортила ему часы и выпала у колена, плоская как пуговица.

— А вы остались невредимы?

— Не попал в меня вовсе! Его пуля сорвала замок с моего пистолета, взбежала мне по руке и вышла у плеча между телом и рубашкой, не повредив ни на волос ни того, ни другого. Он недурно стреляет, но долго целится.

— Этого конечно было достаточно. Честь была удовлетворена.

— Да, по правде сказать, нечего было и удовлетворять. Мы немножко ошиблись. Это оказался совсем не тот.

— Как, вы серьезно хотите сказать, что рисковали своим положением при дворе и предприняли длинное путешествие через границу для того, чтобы послужить мишенью для человека, которого не знали вовсе? Я никогда не пойму вас, ирландцев.

— Мы всегда готовы дать необходимые объяснения, — отвечал Фицджеральд резко, но сейчас же прибавил со смехом, — это вина его крестных отцов, а не моя. Погодите, я сейчас расскажу вам. То был, видите ли, Джон Томсон, которому я попал в жилетный карман; а тот, которого я отвалил хлыстом по выходе из-за карт, был Том Джонсон. Так что, собственно говоря, они оба получили удовлетворение.

— Томсон! Джонсон! Что за имена! После этого, оно совершенно простительно. Итак, вы едете в Версаль, чтобы примириться с двором?

— Если успею попасть вовремя. Дело в том, граф, что я несколько опоздал явиться на свет и теперь постоянно скачу во весь опор, стараясь наверстать потерянное время. Право, я иногда жалею, зачем вообще родился на свет или, по крайней мере, зачем не подождал следующей очереди; тогда, понимаете ли, я был бы своим собственным младшим братом. Он духовный и устроился самым уютным образом.

— Славный это у вас гнедой, — заметил граф, не пытаясь следовать за течением мысли своего собеседника. — Я никогда не забуду того плетня в пять футов вышины, который он перескочил так легко на охоте у Фонтенбло.

Фицджеральд потрепал обнаженной рукой шею своего любимца.

— Он никогда еще не изменял мне, — отвечал он; — у него точно крылья на ногах и потому-то я и называю его Пес, то есть, вы понимаете, сокращенно от Пегас. Перескочил!.. В этом у него нет соперников, ни здесь, ни в Ирландии. Он будет вам стоять в воздухе, пока вы держите его!

Монтарба остановился с улыбкой удивления, в сотый раз с любопытством рассматривая этот замечательный образчик нации, характер которой навсегда останется непонятным французу, со всеми его противоположностями и противоречиями, с его благородством, эксцентричностью, шутками, причудами, беззаботностью и поэзией, с его храбростью, меланхолией, флегматичностью и веселостью. Фицджеральд составил себе репутацию в фешенебельном мире Парижа своей яркой внешностью, темпераментом и безграничной смелостью, в особенности на коне — как, например, тот случай на королевской охоте, на который намекал Монтарба, — своей веселостью в кругу мужчин, учтивостью с женщинами, юмором и оригинальностью речи и — более всего — великолепием обстановки и необдуманной расточительностью, возбудившей любопытство самой королевской четы.

— Я только и слышу, что о лошадях Фицджеральда, об экипажах Фицджеральда, о ливреях Фицджеральда, о великолепии вашего отеля, о ценности ваших сервизов и роскоши приемов, — сказала Мария-Антуанетта, когда граф д'Артуа представил молодого иностранца. — Даже сам король спрашивал меня вчера: «Кто этот мистер Фицджеральд, о котором я слышу сказочные рассказы из «Тысячи и одной ночи», который наводняет улицы моей столицы своим золотом?» Что мне ответить ему, месье?

Фицджеральд низко поклонился. Если на лице его и мелькнула улыбка, то он умело скрыл ее, когда поднял голову.

— Я не заслуживаю такого внимания вашего величества, — отвечал он, — и смиренно ожидаю вашего благосклонного снисхождения. Ответ мой будет короток: я просто ирландский дворянин, живущий во Франции ради экономии!..

— Вы только что из Парижа, — продолжал Монтарба, — а я уехал отсюда рано утром. Скажите, что там нового?

— В эту минуту там идет на улицах порядочная потасовка, вы увидите не меньше разбитых голов, чем на любой ярмарке. Но это уже не новость в последнее время, так как хлеб подорожал еще на пять су за фунт!.. Вам бы следовало приехать погостить ко мне в Ирландию, а то, право, здесь скоро нечего будет есть. А пока я не стану задерживать вас дольше. Жаль, что мне нельзя вернуться назад и принять участие в общей потехе.

Добрый конь поднялся вскачь, послушный руке и голосу своего господина; и не успел Монтарба приказать своему кучеру ехать дальше, как Фицджеральд уж почти скрылся из виду, галопируя по направлению к Версалю.

Ближайший путь графа пролегал через одну из главных улиц столицы. Он был удивлен, а может быть — в своей жажде новых ощущений — и обрадован, увидев, что конец улицы занят отрядом французской гвардии, под начальством его хорошего знакомого, который вежливо преградил ему путь.

— Что это, Эжен, — спросил граф Арнольд, — кажется у вас настоящее сражение? Я слышал сейчас выстрелы, проезжая через заставу.

— Да, они кинули в нас несколько горошин, — небрежно отвечал Эжен, покручивая свой молодой ус. — Были и раненые, но серьезного — ничего. Вы можете беспрепятственно проехать в ваш отель тем путем.

«Тем путем» означало — узким переулком, где встретишь только пешеходов. На углу переулка была булочная, и у дверей ее стоял сам хозяин, весь белый от муки, весь бледный от страха и гнева, дрожа, жестикулируя, указывая на свои закрытые ставни и стараясь усмирить постоянно возраставшую толпу.

— Чего вы хотите от меня, друзья мои? — убеждал он. — У вас нет денег — у меня нет хлеба! Вы видите, моя лавка заперта. Разве я могу печь хлеб без муки? Разве я могу топить печь без дров?

Толпа росла с каждым мгновением. Трое или четверо оборванцев, действовавших, по-видимому, сообща, старались проложить себе путь. Один из них выступил вперед.

— Тут хватит дров! — сказал он, берясь за ставни. — Возьмем их, граждане, и посмотрим, правду ли говорит этот приятель!

— Хорошо сказано, граждане! — раздавались голоса, между тем как толпа волновалась, с каждой новой волной подвигаясь к дверям булочной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.